Палка, палка, огуречик...

Александр Чуманов

SHOUT
SHARE
IT

- Александр Чуманов

Александр Чуманов
Палка, палка, огуречик…

Повесть (журнальный вариант)

Моего отца детдомовские приятели звали Колькой-зыряном.

Почему-то, только войдя в солидные лета, я удосужился узнать, кто такие зыряне в переводе на современный язык. Прежде, по-видимому, меня это совершенно не занимало, а потом вдруг почему-то стало занимать.

Оказалось, что зыряне по-нынешнему именуются коми.

В моем свидетельстве о рождении, заполненном рукой отца, написано, что моя мать — украинка. Хотя во всех прочих маминых документах, начиная от паспорта и кончая партбилетом, значится — русская.

Таким образом, я — русский. Русее, может быть, некуда. «Чудь белоглазая» — еще одно наименование северных финно-угров — испокон века живет там, где живет, и конгломерат, именуемый ныне «русские», составившийся в далеком прошлом из (это еще в школе проходили) вятичей, кривичей, полян, древлян и прочих, немыслим, разумеется, без чудских племен, как, впрочем, и без врагов наших древних — татаро-монголов. Чего уж теперь-то.

И «чуман», как я вынужден всю жизнь втолковывать, отнюдь не то же самое, что «чумак», ибо это берестяной кузов, никакого отношения к добыче поваренной соли не имеющий.

Помимо прочего покойный отец мой, несмотря на детдомовское детство, пришедшееся в аккурат на веселые года триумфального утверждения большевизма, никогда не беспризорничал, а взят был на казенный кошт из дома своей бабушки, отчаявшейся внука прокормить в преддверии окончательной и всеобщей сытости.

То есть отец мой, будучи круглым сиротой, все-таки не был сиротой без роду-племени, родителей хотя и не помнил, однако же некоторые сведения о них, безо всякого геройства сгинувших в полыме всенародного безумия, имел из рассказов бабушки. Сведения, разумеется, были довольно скудны, но я их усвоил в полном объеме.

А еще в моем домашнем фотоархиве, целиком помещающемся в небольшой коробке, хранится, каюсь, не особо

бережно древняя фотография моих довольно далеких предков по отцовской линии. Ей уж, наверное, около ста лет. Единственная, увы, фотография, хотя прежде — я это хорошо помню — были другие, да сгинули где-то во времени и пространстве.

Зато на сохранившемся фотодокументе запечатлена аж дюжина людей, по виду абсолютно не намеренных вообще когда-либо сгинуть, тем более без всякого следа.

А между тем даже я не имею ни малейшего понятия об этих людях, не считая одного человечка, именно человечка, потому что на фотокарточке среди взрослых и явно важничающих перед объективом людей запечатлен большеголовый пацаненок лет пяти в чем-то вроде зипуна. Я в свои пять лет был как две капли воды на него похож, только этот был явно упитанней.

И запомнилось, как, показывая пальцем на ребенка, мне говорили: «папин папа». «Дедушка», — как несколько позже самостоятельно догадался я.

Но еще тем замечательна древняя фотография, что у всех присутствующих там мужчин, не исключая и самого маленького, весьма характерная конфигурация носа. Менее аристократический профиль едва ли существует в природе, хотя, с другой стороны, если он достаточно древен и даже указывает на некую родовитость — пусть и в рамках финно-угорской группы народов, — то, возможно, его, в смысле — профиль, уже надлежит признать аристократическим?..

Разумеется, я и мои потомки тоже несем в себе этот поразительно доминантный ген. У всех поголовно — нос картошкой с незначительными вариациями. И если бы мне сейчас каким-нибудь фантастическим образом заснуть, а проснуться через сто лет, то, как знать, возможно, первое, что я бы на радостях произнес, было; «О, чуманята бегают!»… Хотя, увы, чуманятами они называться ни при каком стечении обстоятельств не будут, потому что я являю собой окончательный и бесповоротный крах чуманизма, гены, говорят, вечны, а фамилии смертны…

Но зато все мои запечатленные на века предки атлетически сложены и высокорослы, за исключением родившегося позже папы моего, имевшего рост едва-едва средний — так то наверняка не от генетики, а от голодухи, которая с унылой регулярностью измельчает наш несчастный народ. Хотя и в этом, возможно, одно из проявлений высшей справедливости, особенно она изгиляется над самыми гнусными представителями этноса, которые, собственно, и устраивают голодуху, когда дорываются до власти, движимые сатанинским комплексом маленького человечка.

О «свинцовых мерзостях» советского детдома отец почти

никогда не вспоминал вслух, что вообще-то о названном предмете само по себе ничего не говорит. Просто папа в силу некоторых особенностей своего характера крайне редко касался тем, не имеющих насущного значения. Ведь, что интересно, он не был молчуном, но, пристрастно роясь в памяти, не могу припомнить ни одного существенного разговора с ним, когда бы, выражаясь словами пролетарского поэта: «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха…» И моя старшая сестра, к которой отец относился с большей, как мне кажется, теплотой, тоже ничего подобного припомнить не может.

Или он всех нас, не исключая маму, полагал недостаточно смышлеными для солидных разговоров, или его учительская профессия, в значительной степени состоящая из говорения слов, забирала весь его словесный ресурс?..

В общем, помню только историю мальчика, которого приятели отца однажды сожгли в печке вместо полена, и только валенки, чудесным образом уцелевшие, остались торчать из топки. А больше, по-моему, отец не рассказывал ничего. И вряд ли потому, что щадил мою не сформировавшуюся психику — в нашей педагогической семье о таких тонкостях, кажется, понятия не имели, — а просто потребности у папы такой не было.

Да что там! Он не делал даже того, что большинству взрослых доставляет ни с чем не сравнимое наслаждение: не читал нотаций, не учил жить, не делал пространных и поучительных сопоставлений с целью правильного формирования моей на протяжении долгого времени довольно аморфной личности.

И хотя тут я, возможно, не совсем прав или же совсем не прав, не справедлив даже, я никак не могу отмахнуться от подозрения, которое в детстве было твердым убеждением, что отцу, по большому счету, было на меня глубоко наплевать. То есть я представлял для него интерес ничуть не больший, нежели, скажем, некое домашнее животное, которое приятно иной раз взять на колени, почесать за ухом, ласково приговаривая: «Ишь ты, сволочь, разумения нет, а доброту понимает!» — а потом небрежно смахнуть с колен и забыть до другого раза.

А может, все дело тут опять в детдомовском воспитании? Потому что мои взрослые наблюдения за детдомовцами, притом за несколькими и довольно длительное время (откуда у меня такие наблюдения — это совершенно особая история), говорят за то, что эти дети обычно имеют специфическую особенность личности, которую мало кому удается в процессе жизни преодолеть. Особенность состоит в том, что человек ощущает себя слишком автономным субъектом мира, не способным никого

воспринимать как собственную часть, тем более себя — частью кого-то. Проще говоря, речь идет о любви. Но не о такой, когда любят вопреки всему и неизвестно за что, а о такой, которая доставляет совершенно конкретное удобство…

В конце детдома один из отцовых приятелей, некто Митька, соблазнил его головокружительной перспективой: после седьмого класса — на рабфак! А там — в Тюменский учительский институт. И таким образом, через четыре года после семилетки — высшее образование!

Сказано — сделано. И вот уже бывший детдомовец Колька-зырян — дипломированный педагог, учитель географии Николай Павлович. Хотя и нос картошкой.

И — преподает. Сеет разумное — в меру своей скромной просвещенности, доброе — в меру своей детдомовской добросердечности, вечное — в полной мере, ибо ничего более надежного, чем география, особенно физическая, в нашем мире, кажется, нет.

Однако надо признать, что некая врожденная — больше неоткуда — интеллигентность была все-таки свойственна моему отцу. Интеллигентность выражалась в полном и абсолютном невладении ненормативной лексикой, что, с учетом особенностей воспитания, представляется совершенно невероятным. Единственным ругательством, какое способен был произнести мой отец, было «тьфу, язва!».

Мама заканчивала семилетку. Как говорили тогда, входила «в пору». Хотя было ей четырнадцать, от силы пятнадцать. И тем не менее — последний класс. Выпускница, отличница. И все такое. В смысле, все уже при ней.

Правда, мамин папа недавно был повторно изъят из жизни за компанию с прочими местными мужиками — спецпереселенцами-кулаками, потенциально опасными для успешного устройства всемирного процветания. То есть связь с его дочкой могла бы подгадить отцу даже больше, чем совращение малолетней.

Но тогда, к счастью для всех, не произошло ни того, ни другого. И мама даже осталась в полном неведении о том, что молодой географ на нее глаз положил.

А вскорости призвали отца на действительную — почетный долг исполнять, который в те времена и впрямь был почетным, любить красного армейца считалось делом не только престижным, но даже в какой-то мере и выгодным, ибо будь ты самый что ни на есть низший чин, однако по демобилизации имеешь полное право выдернуть полюбившуюся колхозницу из колхозной крепости и увезти на какую-нибудь стройку коммунизма.

Призвали отца на действительную, а он вдруг оттуда стал писать матери письма с недвусмысленными намеками насчет как бы совместных перспектив, стал слать фотокарточки, на обороте одной из которых, аккуратненько отодрав ее от альбомной страницы, я, пытливый ребенок, однажды, изнывая от ехидства, прочел: «Пусть это фото надпоминает тебе о днях нашей юнности…»

А что вы хотите, семь классов — это семь классов. И обширные, допускаю, познания в географической области мало что дают для повышения общекультурного уровня.

Потом, уже где-то в пятидесятых, отец еще раз заочно окончил педвуз, еще один диплом получил, сделался чрезвычайно высокомерен, правда, только в рамках семьи, однако с непрофильной книжкой в руках я его не видел ни разу в жизни. Хотя книги его интересовали и он иной раз приобретал неизвестными мне путями, вероятно через какой-нибудь спецраспределитель для учителей георафии и биологии, довольно экзотические издания, из которых особо запомнились труды садовода Мичурина В. И., представляющие собой несколько объемистых, шикарно изданных томов с иллюстрациями и шелковыми веревочками, не помню, как они называются.

Но всю жизнь отец писал свои бесчисленные «рабочие планы», предназначенные для предъявления не менее бесчисленным проверяльщикам из роно, со множеством грамматических ошибок. Мне, повторюсь, пытливому ребенку, доводилось потом заглядывать в эти тетрадки, испещренные красными пометками проверяльщиков. Свидетельствую: пометки никогда не касались орфографической и тем более синтаксической стороны текста, а имели отношение лишь к неким методическим огрехам, что, думается, весьма субъективно…

Однако тут мы несколько забежали вперед, и нужно, пока не поздно, вернуться туда, в истерично радостную предвоенную эпоху, когда одни граждане самой счастливой страны мгновенно превращались в лагерную пыль, а другие столь же мгновенно взлетали в немыслимые выси. В немыслимые выси — это абсолютно достоверный факт — из моих родичей не вознесся никто, а вот в противоположную сторону по маминой линии канули почти все, и ей, наверное, никто не советовал отмахиваться от перспективного детдомовца. Так что она, наверное, на отцовские письма отвечала более-менее исправно, может, даже нечто напоминающее нежности эпистолярные позволяла себе, а то бы иссяк односторонний письменный ручеек.

С действительной воинской службы отцу в свой срок

вернуться не довелось. Началась война, папку незамедлительно произвели в младшие лейтенанты, сделали командиром взвода зенитных пулеметов — счетверенных «максимов» (наверное, многие даже и слышали о таком орудии времен второй мировой), — а мама, тогда учившаяся по направлению колхоза в тобольском дошпедучилище, приобретала свою собственную интеллигентность и абсолютно не связывала, по ее словам, жизненные планы с бывшим учителем, однако более-менее аккуратно отвечая на его письма, не думаю, что из вежливости, тем более не думаю, что из циничного расчета, скорей — от безответственности, столь свойственной школьным отличницам, входящим «в пору», когда хочется максимального внимания лиц противоположного пола, когда кажешься сама себе звездой, круглосуточно сияющей, и бессознательно стремишься вовлечь в поле своего тяготения как можно больше объектов, чтобы получилась некая как бы планетная система и чтобы эти как бы планеты восторженно вращались вкруг тебя на отведенных им орбитах.

На войне отцу не везло с самого начала, хотя, разумеется, и не так, как многим другим, кому не повезло только однажды, но сразу по максимуму.

Однако, с другой стороны, если ты уже довольно долго пребываешь на «театре военных действий», на самой что ни на есть «передовой», и тебя до сих пор не убило, то, следовательно, должны у тебя быть в активе некие боевые достижения, хоть бы и не особо значительные.

А у отца из достижений были только ранения. Три ранения — и все тяжелые. Последнее сделало его безнадежным инвалидом на всю оставшуюся жизнь, но тем самым эту жизнь и сохранило.

Так и остался мой папа навсегда младшим лейтенантом. И Родина, отпустив беднягу с фронта на все четыре стороны, несмотря на все свое материнское сочувствие к пораненным сынам своим, не смогла усмотреть никакого подвига в папкином поведении, ибо все ранения он получил как-то бестолково, как-то нелепо и вполне бездарно — то шальная пуля, то осколок не менее шальной, то вражеский снайпер подкараулил красного офицера, ищущего на виду у неприятеля укромное место, чтобы справить естественную, в том числе и для офицера, надобность…

Потом, после войны, когда отец учительствовал в нашей школе, ему, по крайней мере раз в год, обычно накануне Дня Советской Армии, приходилось рассказывать пионерам и комсомольцам о своей боевой молодости. Собственно, тогда все фронтовики имели эту обязанность — для кого-то ужасно приятную, сделавшуюся со временем чуть ли не профессией, для

кого-то — не очень.

Папка ею явно тяготился. Во-первых, потому что с полным правом не видел, чем гордиться, во-вторых, об этом говорилось уже, овладение мастерством разговорного жанра не входило в число его насущных задач — досыта хватало неизбежного говорения на географические, а потом еще и на биологические темы.

Однако под давлением обстоятельств пришлось-таки и ему разработать некую лекцию на заданную тему — панорамную, но снабженную для живости забавными, на взгляд отца, деталями. Конечно, далеко не все детали относились непосредственно к боевому пути моего отца — у него просто-напросто не могло быть такого большого количества таких колоритных деталей. Так он на свою личную причастность и не напирал особо.

И только много позже я догадался, что выручало тогда отца — конечно же он, госпитальный фольклор, далеко не всегда вписывавшийся в рамки стальной идеологии, но и почти никогда не расходящийся с ней под опасным для жизни углом. Даже человек, отдавший партии и правительству все четыре свои конечности, очень редко отваживался сказать кому бы то ни было искреннее солдатское «спасибо». Думаю, сочинители вредоносного фольклора неистребимы — они, возможно, и есть тот все еще наукой не открытый вирус вселенской жизни…

А моя будущая мать, окончив учебу, вернулась в ненавистную деревню и стала работать в колхозном детском саду, пополнив ряды сельской молодежи и сельской интеллигенции. Где-то на Колыме уже принял мученическую смерть ее отец — осужденный на десять лет за КРА (анекдот), но выдержавший немногим более года, о чем под страшным секретом поведал один непосредственный свидетель, вернувшийся-таки домой по окончанию срока, но семья пока еще о потере своего кормильца ничего не знала, еще писала ему письма и получала весточки от него — так извечная медлительность отечественной почты иногда, сама того не желая, дает несчастным хотя бы кажущиеся отсрочки от вечности.

Мама вернулась в родной колхоз, сплошь состоящий из врагов народа, благодаря чему никто ее не попрекал происхождением, и решила жить по возможности весело. Война была далеко, никто из маминых родственников — опять же нет худа без добра — погибнуть на ней в принципе не мог, и даже младший братишка Леня, в отличие от многих мальчиков его возраста, на фронт попасть не мечтал, тем более не помышлял сбежать туда нелегально. Ну некому было привить парню настоящий советский патриотизм, поскольку с настоящим

советским патриотизмом в их гигантском лесотундровом регионе со спецкомендатурой в славном городе Обдорске (Салехарде) было вообще неважно.

А веселье, этот непременный спутник молодости, оно ведь, как сорняк, — способно буйно произрастать даже в самых, казалось бы необорудованных для него условиях. Хотя, конечно, веселье веселью рознь. И взрослые солидные люди, озабоченные повсеместным насаждением культуры как формы более-менее цивилизованного веселья, в конечном счете озабочены не только сохранением и укреплением собственных уютных рабочих мест, но и собственной физической безопасностью. Проще говоря, движет взрослыми солидными людьми не столько сочувствие невеселой, лишенной продуктивного досуга молодежи, сколько отвращение к перспективе быть однажды ни за что ни про что зарезанными посреди улицы скучающим недорослем.

Но это — к слову. Потому что условия военного времени все-таки дисциплинировали юных советских крепостных получше, чем нынешние так называемые и всевозможные центры досуга. И все деревенское веселье той поры, жестко регламентированное помимо прочего драконовским трудовым законодательством, сводилось к всевозможным посиделкам, вечеркам, гулянкам вдоль единственной улицы по щиколотку в навозе или просто грязи, песнопениям под гармошку, балалайку и т. п. Хотя уже был изобретен патефон — и довольно давно, — однако имела его не каждая деревня…

Что же до дефицита мужского населения, то да, разумеется, он сказывался, но не так сильно, как принято думать. Особенно — ближе к концу военной бойни. Потому что, во-первых, оставленные на расплод мужики — по брони ли, по болезни ли — уже в полной мере осознали свою историко-демографическую миссию и наловчились в меру сил ей соответствовать; во-вторых, уже немало калек вернулось с полей войны, и каждый, если только у него, как говорится, «орало не оторвало», был переполнен решимостью незамедлительно приступить, образно говоря, к «возделыванию целинных и залежных земель»; а в-третьих, тут бы я, если никто не станет возражать, претендовал бы на исследовательский приоритет, мальчики в тот период взрослели фантастически быстро. Недокормыши войны, явно недобравшие в росте и весе, они, однако, были жилисты и крепки, закалены каторжным трудом так, что казалось, будто вся их материальная часть — есть энергия в чистом виде.

И взрослые, обильные телом девахи — словно бы они и не голодали, — изнывающие и томящиеся сгустки природы, открыто гуляли вдоль деревенской улицы под ручку с этими враз

осознавшими собственную значительность живчиками. Сперва, разумеется, только самые отчаянные гуляли — у которых отцы либо на фронте сгинули, либо в ГУЛАГе, — гуляли, непременно подчеркивая при этом всю комичность такой любовной игры, потом, постепенно загуляли и самые записные скромницы, причем ничего такого уже не подчеркивая…

Однако и этих недокормышей на всех страждущих порой не хватало, и под конец войны уже никого в деревне особо не шокировали периодически случавшиеся очень шумные и подчас даже кровавые разборки колхозных ударниц, не сумевших поделить мирно свой предмет обожания. Ну, если не обожания, так, по меньшей мере, утешения. Ведь, в сущности, тут, пожалуй, и немалое удобство просматривается — маленького мужчину можно, если хочется, и как мужа любить, и как дитя. К тому ж — и прокормить легче…

Мама решила жить весело, хотя, если судить по ее не таким уж щедрым воспоминаниям, не выходя особо из некоторых рамок. Ей, в силу совсем еще невинного состояния, было, конечно же, неизмеримо легче, нежели некоторым другим. Однако, как она сама игриво выражалась, «хвостом вертела вовсю и с парнями гуляла напропалую». И письма на фронт писала, и продолжала верить, что они ее ни к чему не обязывают. А потом, когда мой будущий отец очутился в тыловом госпитале, уже окончательно и бесповоротно непригодный для войны, моя будущая мать ездила к нему туда, уверенная, что даже это ей, птице вольной, крылышки ни в коей мере не подрезает. Напротив, шефская как бы поездка к изувеченному защитнику Родины дополнительно окрылила девчонку, потому что все ранбольные «так на нее смотрели, так смотрели и такие недвусмысленные шуточки отпускали, черти бесстыжие!..».

Расплата пришла в виде телефонограммы на имя председателя колхоза, и в ней сообщалось, что на ближайшей железнодорожной станции находится геройский капитан-фронтовик, направляющийся после излечения в госпитале к месту жительства своей невесты, и содержалась настоятельная просьба подать герою подводу, ибо возможности для самостоятельного перемещения он не имеет.

Маму срочно кликнули в правление, и там председатель, явно обескураженный, возможно, даже слегка расстроенный, ознакомил ее с документом частного характера. Нет, сам лично этот старичок на нее никаких видов не имел, но как хозяйственник, как руководитель, облеченный правом давать крепостным волю или не давать в пределах, разумеется, своей компетенции, наверняка прикидывал, за какого передовика

колхозного строительства, когда придет время, отдать замуж энергичную девушку, какая из этого в еще более отдаленной перспективе образуется ячейка общества и какой человеческий прирост поголовья даст она вверенному коллективному хозяйству, а следовательно, и родной социалистической державе.

«Что ж ты, Нюся, — по-отечески попенял председатель, — никому ни слова, на вечерки бегала, а оно — вон что…»

Лишней подводы, тем более лошади в колхозе, конечно же, не было, но для Нюси, для ее суженого фронтовика, против которого ничего конкретно, конечно же, не возразишь, председатель изыскал. И Нюсю, ведущую себя странно, то есть ни малейшего намека на ликование не обнаруживающую, отправил вместо возницы. Словом, уважил…

Теперь, когда я сам не только отец взрослых дочерей, но и неоднократный дедушка, мне очень понятны чувства моей бабушки Марфы, охватившие ее тогда, о чем бабуля как-то раз обмолвилась. Это было что-то вроде паники. Но бабушка Марфа совершенно не знала грамоты, работала на ферме свинаркой и, по причине классово чуждого происхождения, ощущала себя всегда и во всем заведомо виноватой перед всем остальным миром. А дочка ее, моя будущая мать, пусть и не считалась достойной членства в комсомоле, раз не отреклась публично от отца-врага, однако имела завидное образование, ей Родина доверила воспитание малолетних коммунаров — ну, как она могла разделять мелкобуржуазные, да еще и с примесью религиозного мракобесия, предрассудки матери?..

В общем, мой будущий родитель был надлежащим образом доставлен в деревню и размещен с возможным удобством в той самой однокомнатной хижине, где уже обитали трое, нет, четверо, потому что промеж людей в теплом углу за печкой еще обретался, правда временно, новорожденный телок. Впрочем, в те поры, а кое-где и по сей день такая плотность населения отнюдь не считается невыносимо избыточной. Тем более когда на ограниченном пространстве живут родные друг дружке люди.

А мать все еще упрямо не считала случившееся расплатой. Бабье это упрямство или наше фамильное — мне трудно объективно судить. Но весьма вероятно, что суммировалось и то, и другое. Мать утешала себя незатейливо, как наркоман; ладно, как-нибудь, мы же все-таки советские люди, мы ж не фашисты, чтобы взять и прогнать на мороз беспомощного человека, к тому же защитника Родины, к тому же члена ВКП(б). Но вот кончится зима, а заодно, может быть, и война, сделается в мире тепло, переведем телка в стайку, а заодно и постояльца этого переведем, точнее, сам он, уразумев наконец, что никакой он тут не жених, а

совершенно посторонний человек, скажет простое человеческое «спасибо», скажет, что пора и честь знать, а мы его для порядка еще маленько поотговариваем, но он проявит большевистскую и мужскую твердость, скажет, дескать, насильно мил не будешь, да и исчезнет куда-нибудь навсегда, причем совершенно бесследно. Как будто его и не было вовсе…

Но моя будущая мать не знала жизни. Тем более она не знала психологию детдомовца. А между тем, как я выяснил лишь тогда, когда матери удалось-таки окончательно избавиться от моего отца, родня у него имелась, и он знал к ней дорогу. И было этой родни много. И бабушка, некогда сдавшая его в детдом, после войны еще пребывала в здравии, и дядья, и еще кто-то. Но знал отец и то, что, если никому из них он не был нужен ребенком, то весь искалеченный да в пору чрезвычайной послевоенной нужды — тем более.

Незадолго до первого инсульта отец, причем без всякого труда, своих родичей взял да и разыскал. Съездил пару раз к ним в гости. И они его прекрасно принимали. Но когда он умер, никто из них не приехал на похороны, и даже ни одна телеграмма с соболезнованиями не пришла из тех недальних вообще-то мест.

Впрочем, я никого ни в чем не упрекаю, Боже упаси. Что поделаешь, если у нас в родне почему-то слабы родственные связи и нередко даже самые близкие люди с трудом терпят друг дружку… Или наступила такая эпоха, что родственные связи повсеместно слабеют, только со стороны это не всегда и не всем заметно…

Так что, когда наступила долгожданная весна и телка перевели по принадлежности, отчего воздух в избе свежее не стал, ибо скотский дух имел природу вековечную, мой будущий отец и впрямь куда-то засобирался. В город какой-то. Либо в зачуханный Обдорск, либо в такой же Тобольск, либо в чуть менее зачуханную Тюмень. Городов-то кругом было — умотаться!..

Он вроде как по делам засобирался. А были у него там дела, не было ли никаких дел — этого мне никто никогда не уточнял. Засобирался — и мать с собой сманил. Как бы для компании. И она с ним поехала. Типа — за компанию. Типа — городским воздухом подышать…

(Ох, до чего ж прилипчив сленг — этот вульгарный разъединитель, но одновременно и соединитель поколений, одинаково агрессивных в своем эфемерном антагонизме!)

И поплыли мои будущие родители по освободившейся ото льда речке Оби на каком-то милом пароходике, и достал папаня бутылочку вина, и подговорил некоего пароходного служащего оказать содействие и проявить солидарность.

Благодаря чему в распоряжении влюбленной по всем признакам парочки оказалась небольшая и без особых удобств, зато отдельная каюта с постелью. И без особых проволочек зачали они мне сестру Надю…

Наверное, отец мой торжествовал потом победу. Хотя бы в душе. Наверное, он не предвидел тогда, сколько горя и душевной муки принесет ему уже в ближайшем будущем эта победа, сколько раз его сердце будет разрываться от бессилия и тоски, сколько раз будет уязвлено его мужское самолюбие самым бесцеремонным образом!

Но мне судьба не оставила ничего иного, кроме как быть благодарным родителям за сам уникальный факт моего появления на свет. Конечно, я бы предпочел явиться миру в качестве дитя любви, вне всякого сомнения, это обстоятельство благоприятно сказалось бы на моем как внутриутробном, так и последующем развитии, весьма вероятно, что вырос бы я личностью более цельной и менее противоречивой, что позволило бы достичь мне в жизни гораздо большего — по сравнению с тем, чего я в действительности достиг, а это, в сущности, ничего.

Но! Тогда получился бы другой, по естественным причинам совсем не интересный для меня человек, а меня бы вообще не было, с чем я, разумеется, даже осознавая все мои постыдные недостатки, согласиться не мог и не могу.

Так мой отец, похожий в данном случае на высокоразвитую сферу обслуживания, стал мужем и зятем…

Всю жизнь с неубывающим любопытством и непреходящим изумлением гляжу на окружающий социум — как же много людей оказывается в непосредственной близости друг к другу по чистой и зачастую совершенно нелепой случайности! Гляжу по сторонам, потом обращаю взгляд внутрь себя и все чаще — возраст сказывается, что ли, — впадаю в сентиментальность. Впрочем, мне это не кажется сентиментальностью, но другим, от которых зависит судьба моих сочинений, кажется. Я говорю им: вы ни черта не понимаете, это же фибры души! Но они, прожженые циники мегаполиса, похоже, убеждены — все, что не есть цинизм, есть сантимент. Бог нас рассудит…

Между тем мой будущий отец, по крайней мере на первых порах, в качестве главы семьи представлял собой весьма печальное зрелище. Разрывная пуля, спасшая его от более чем вероятной смерти, продолжай он воевать в том же духе, попав в ягодицу, наделала таких делов, что, как говорится, не дай вам Бог. Я, во всяком случае, всю жизнь с удовольствием посещающий публичные бани, такого неэстетичного увечья больше не видел ни у кого. Кувыркаясь в человеческой плоти, как в безвоздушном

пространстве, эта запрещенная всеми конвенциями пуля не только искромсала в лоскуты половину папиной задницы, но и совершенно уничтожила сустав, раздробила верхнюю часть бедренной кости.

Насколько я понимаю, госпитальные хирурги просто-напросто доделали то, что не доделала в спешке пуля, — убрали все приведенное в совершенную негодность, и зашили. По-моему, в таких случаях ногу обычно ампутируют ввиду ее абсолютной нелепости. Но в данном случае ногу оставили, как я могу догадываться, с чисто косметической, а то и, не побоюсь этого слова, эротической целью. Или — чтобы обеспечить фронтовику более высокую самооценку: мол, обе ноги вообще-то в наличии, только одна — пораненная.

И поначалу отец кое-как передвигался по дому на костылях, а то, что лишь номинально было ногой, безвольно болталось, создавая дополнительные помехи движению, и даже не доставало до пола из-за весьма существенной укороченности.

Правда, в госпитале инвалиду дали в подарок от родины так называемый «тутр» — больше я такого слова не слышал нигде. Изделие имело вид кожаного сапога высотою под самый пах, оснащалось сложной системой ремней, которые должны были крепить его на бедрах.

Но, думается, даже сам изобретатель «тутра» слабо представлял конкретную функцию своего детища. Отцу, по крайней мере, оно абсолютно ни в чем не послужило и однажды было с немалой выгодою продано деревенскому сапожнику, который сделал из него полновесную пару добротных сапог, да еще на заплатки осталось, уж не говоря про всякие ценные для хозяйства ремешки да застежки.

А помимо трудностей с передвижением обнаружились и некоторые дополнительные трудности. Очень скоро выяснилось, что отец, как и всякий воспитанник детского дома, мало чем может быть полезен в окрестностях семейного очага. То есть, даже сидя сиднем дома или во дворе, он ни для какого мужицкого рукоделья не имел ни малейшей квалификации.

Так и зажили. Мама да бабушка мантулили денно и нощно, помимо общественных работ ходили на покос за десяток километров, сами в лесу заготавливали дрова, возили их оттуда в основном на санках, пилили, кололи. Сами и хижину свою чинили, когда возникала неотвратимая потребность.

А дядя Леня к тому моменту, чтобы не озвереть от тесноты и чтобы не мешать сестре в ее интимной жизни, уже, закончив в Тюмени техникум, служил на Северном флоте и только моральную поддержку имел возможность оказывать своим

«дорогим родным», как неизменно называл он их в письмах, тогда как произносить подобные слова вслух считалось да и по сей день считается в нашей родне совершенно невозможным, и только я один без конца нарушаю данное правило поведения устно и письменно, как нарушаю еще некоторые другие, что доставляет мне мало кому понятное удовольствие. Причем я даже доподлинно не знаю, как оно происходит — то ли сперва придумываю некие слова, а потом подгоняю под них свою жизнь, как школяр подгоняет под ответ не поддающуюся решению задачку, то ли, наоборот, живу так, чтобы иметь право на некоторые специфические слова…

Однако справедливость требует засвидетельствовать: к тому моменту, когда я стал только-только осознавать себя и мир, в котором угораздило родиться, отец мой все-таки некоторым полезным для дома и семьи вещам уже обучился. Он обучился довольно сносно меня стричь, ступенек, по крайней мере, не делал — а даже и освоил кой-какие традиционные для того времени стрижки, которые именовал «полькой» и «боксом».

Впрочем, профессиональный парикмахер, возможно, обнаружил бы отклонения от стандарта, но папа свои поделки на моей голове звал только так. И я по младости лет ничего против его искусства не имел, поскольку с другими ребятами родители творили сущий беспредел — либо оставляли одиозный, явно диссонирующий с прочим ландшафтом кустик под названием «челка», либо вообще, не мудрствуя лукаво, стригли ребенка наголо, абсолютно не принимая во внимание его слезный протест, восходящий, если иметь в виду глубинную суть проблемы, аж к правам человека, о которых в нашей местности тогда еще по известным причинам не слыхивал никто.

Однако вот что интересно: подстригаясь в настоящей парикмахерской, я даже сейчас, когда и волос на голове почти что не осталось, маленько как бы млею от чутких прикосновений профессионала. Как бы слегка тащусь. А папина процедура всегда была если не мучительной, то утомительной и нудной. Почему бы, ума не приложу…

И еще: когда моих сверстников родители начали отправлять в парикмахерскую, где за сорок пять копеек их стригли под «молодежую», отец мой ни о «молодежной», ни о парикмахерской долгое время даже слышать не хотел, будто подвергали сомнению его самое сокровенное ремесло и самую сокровенную эстетику мальчиковой стрижки. Впрочем, учитывать мое мнение и уважать мое самолюбие не имели склонности оба моих родителя, к чему я еще вернусь, возможно, не раз…

А также отец освоил подшивание валенок и делал это с

невероятным тщанием, скрупулезно следуя не им разработанной технологии, часами натирая дратву куском битума, опутав ею все жилое помещение. То есть работал крайне медленно, но, наверное, качественно. Хотя за это не поручусь.

Потом, он ловко пилил дрова двуручной пилой в одиночку, чему я научиться в свое время не удосужился, а теперь уж и не научусь. Когда же слегка подрос я, отец меня вообще достал этими дровами — более ненавистной работы я до сих пор не знаю. Помню, от скуки незатейливо экспериментируя, зная, что папка прекрасно может обходиться и без меня, я однажды попробовал просто держаться за ручку, не прилагая никакого усилия. Получилось нормально — отец не заметил ничего. Тогда захотелось пойти дальше. И в какой-то момент я отпустил ручку с намерением через минуту торжественно провозгласить: «Вот видишь, папка, я тебе совсем даже не нужен!»

Однако мой эксперимент оказался неудачным, и я испуганно прикусил язык. Потому что эта зубастая падла как выскочила из своей щели да как проехала по отцовской руке!.. Отец так и умер, не узнав о моем эксперименте с пилой и с ним. Так и отправился в лучший мир, думая, что виноват сучок, из-за которого мне не хватило силенок удержать опасный инструмент от его дикой выходки…

А уж как здорово насобачился папка дрова колоть — вообще. Виртуозно насобачился колоть в сидячем положении, левой рукой придерживая полено, а правой бесшабашно маша топором, причем бесшабашно — лишь на первый взгляд. Потому что на самом деле риска не было никакого — в момент, когда топор опускался вниз, отец на мгновение убирал руку, а возвращал ее на место тотчас, едва лезвие достигало полена.

И я так умею, честное слово. Отец научил. Это, может быть, единственное, чему он меня научил. Ну, разумеется, не считая географии и биологии. И чем я до сих пор маленько горжусь.

Когда мои зять с дочерью затеяли гоношить шашлычки, я моментально обратил в щепки несколько крупных поленьев. Зять глядел на меня зачарованно, как на фокусника, а я, будто пацан сопливый, млел под этим взглядом и пару раз чуть пальцы себе не отмахнул — на них ведь, молодых и до крайности самонадеянных, так трудно произвести впечатление. А так иной раз хочется…

А больше никаких существенных деяний отца по хозяйству не запомнилось. Но знаю точно — ни одной даже самой паршивенькой сарайки отец в своей жизни не построил, сущность электричества и всего, что с ним связано, представлял более чем смутно, гаечный ключ смотрелся в его руке еще более нелепо, чем

смотрелся бы, скажем, скипетр.

Однако почему-то всю жизнь стоит перед глазами почти идиллическая картинка: «Отец, выпрямляющий ржавые гвозди». Следовательно, он эти гвозди куда-то потом вбивал. Но вот куда?..

Отдавая дань справедливости и объективности, сообщаю: я тоже далеко не мастер золотые руки, перечень моих личных умений, разумеется, больше, но, наверное, это потому, что воспитывался я не в детдоме, живу в иной эпохе и обстановке, а кроме того, знаю о себе куда больше, чем об отце, в котором нечто важное я, весьма возможно, проглядел. Однако скрупулезность, тщательность к числу моих трудовых добродетелей явно не относятся, и, умея бывать настырным в достижении некоторых целей, всегда и от всякой работы хочу отделаться как можно быстрее, часто затем, чтобы немедленно взяться за следующую, кроме того меня всю жизнь раздирает и другое противоречие — имея склонность к пунктуальности и пресловутому раскладыванию по полочкам, одновременно и очень часто действую на авось, наобум и тяп-ляп. Уж не оттого ли это, что дали мне жизнь два не просто разных, но и, пожалуй, глубоко чуждых друг другу человека…

Время действительно всем лекарям лекарь. Осенью отец, едва передвигаясь, отправился-таки на работу. В школу, разумеется. При своем столь значительном увечье он никогда не числился инвалидом второй группы — всегда у него была третья, «рабочая». То есть работать, может, и не обязательно, за тунеядство не привлекут, однако попробуй просуществовать на совершенно неприличную пенсию.

Пожалуй, папке по первости очень больно было на работу ходить. И там стоять да время от времени перемещаться от стола к развешанным по стенкам картам и обратно — тоже больно было.

Но я не слышал, чтобы он жаловался. Правда, меня тогда, в самом начале его инвалидного трудового пути, и не было на свете. Когда же я на свет Божий появился-таки в пятидесятом году прошлого века (страшновато звучит с непривычки), то нашел отца уже довольно бодрым да шустрым калекой. Начав с идиотского «тутра» да пары костылей, он мало-помалу расходился, разбегался, «тутр», как уже говорилось, выгодно загнал, костыли в чулан закинул и даже перестал заказывать в городе так называемые ортопедические ботинки — этакое чудо обувной архитектуры, если кто не знает, — щеголял сперва в хромовых сапогах, потом перешел на цивильные полуботинки, носимые, в зависимости от погоды, с калошами или без, опирался

на легкую щегольскую тросточку. Правда, при ходьбе отец сильно припадал, однако то, что осталось от начавшей забываться ноги, служило ему довольно надежной подпоркой.

Однако зимой нормальная обувь нередко жестоко подводила отца. Он падал на каком-нибудь скользком месте, и тогда к нему опять возвращалась та первоначальная боль. Тогда вновь извлекались из чулана костыли, извлекались оттуда же собственноручно подшитые пимы, почти такие же высокие, как ставший легендарным «тутр», и даже более жесткие, и опять дорога на работу и сама работа делались пыткой.

Туго приходилось в такие времена и папиному выходному — а другого у него не было — пальто, он был уже весьма грузным мужчиной, и не существовало в природе такого драпа, который бы мог работать, как баббитовый подшипник коленвала, а требовалось именно это. Другими словами, ткань под мышками держалась недолго, скоро образовывались дыры, на них накладывались заплатки из предыдущего пальто, но и у заплаток ресурс получался невелик, однако заплатки были удобны тем, что подчинялись теории и практике основ взаимозаменяемости. В конце концов пришли к тому, что стало у отца два выходных пальто, одно — под костыли, другое — для хождения с тросточкой…

А когда отец маялся от последствий старого ранения, нас с сестрой вечерами ждала особая повинность, мягко говоря, доставлявшая нам с сестрой мало удовольствия. Впрочем, повинности не для удовольствий и существуют. Называлась она «тереть ногу». И мы исполняли ее, строго следя за тем, чтобы очередность ни в коем случае не нарушалась, хотя она все равно то и дело нарушалась — хитрая сестра все время норовила не успеть сделать днем уроки, все оставляла на вечер какую-нибудь будто бы нерешающуюся задачку, тогда как нерешающихся задач у нее, как и у меня в будущем, почти не было, а если все-таки были, то ни мать, ни отец тем более не имели возможности нам помочь. Но пока я был дошкольником, сестра вовсю дурачила меня этими задачками…

Возможно, отцу было бы гораздо приятней, если бы и мама хоть изредка тоже ему «ногу терла», помимо исполнения прочих обязанностей. Но я ни разу не видел, чтобы она это делала, и думаю, что он, скорей всего, не смел ее просить…

Отец ложился поудобней на койку, я или же сестра садились рядом на табурет и делали, делали этот изнурительный, к тому же вызывающий отвращение массаж. Это было ничуть не лучше, чем дрова пилить. А отец-то, конечно, в минуты, когда мы «терли ему ногу», в нирване пребывал. И, глядя на него, мать с бабушкой

принимались «искаться в головах». Иной раз такой кайф перепадал и сестре, и даже мне, в чьей голове вряд ли что можно было найти как внутри, так и снаружи…

В общем, все мы были не прочь на досуге предаться простейшим житейским утехам, чем-то явно напоминающим рукоблудие, прости, Господи…

И постепенно боль покидала отца. Возможно, наши с сестрой усилия весьма споспешествовали тому, возможно, не весьма, но споспешествовали, однако я в реальный смысл моей работы не верил тогда совершенно — детский нигилизм, что вы хотите.

Боль отпускала отца, и он опять, разумеется с известной натяжкой, «ходил гоголем». До следующего падения. Ведь что ни говори, а был он тогда еще весьма молодым, по нынешним моим меркам, человеком и хотел выглядеть да и жить не хуже других, тем более что некоторые другие, совершенно не считаясь с авторитетом сельского учителя, так и норовили уязвить беднягу в самом для него святом. А святым для него — уж очень хочется мне так думать, хотя, вне всякого сомнения, отец сам подобным образом никогда не формулировал, и, вероятно, я опять приписываю ему душевные качества, которыми он в силу объективных и субъективных причин не располагал, — святым для него было то чувство, которое он испытывал к своей первой в жизни женщине, которая могла бы стать и последней, если бы всю жизнь не стремилась к совершенно иному, чтобы в конце концов это иное заиметь и уразуметь на личном опыте, что сказочным принцам либо вовсе нет места в стране победившего соцреализма, либо для этого надо самой быть аналогичной принцессой, что очень обременительно и ответственно не только в данной стране, но и в любой другой…

Родиться мне пофартило в деревне Борки близ города Тюмени. К тому времени семья уже вырвалась из-под гнета спецкомендатуры и могла, хотя бы теоретически, жить где ей заблагорассудится. Дядя Леня, вернувшись с флота бравым матросиком, моментально женился, причем на городской девушке, причем на учительнице начальных классов. Впрочем, он и сам имел, как мы помним, изрядное для нашей местности образование. В общем, тоже влип в прослойку.

Кстати сказать, в те времена, вопреки нынешнему зубоскальству интеллектуалов, слово «прослойка» никого не коробило, и принадлежать к ней считали за честь.

Видимо, свадьба была у нас, я ее запомнил, потому что была жуткая теснота, мне мучительно хотелось спать, и я каким-то образом отвоевал себе место на кровати, но спать мне все равно не давали, то и дело бесцеремонно сдвигали меня к стенке, как

мелкий неодушевленный предмет, садились на кровать, курили невыносимые папироски — «Север» да «Прибой», по-видимому, ничуть не волнуясь, как оно скажется на моем детском организме, не станет ли, как минимум, причиной моего раннего влечения к зелью.

Помню отчетливо, — а было мне тогда года, наверное, три, — дядин выбор наша родня не одобрила, о чем говорили при мне, совсем меня в расчет не принимая. Во-первых, невеста была старше жениха, то есть, согласно бытовавшим стандартам, вообще засиделась в девках, что само по себе дает массу очевидных, а заодно и мнимых оснований для скептицизма. Кроме того, тетя Галя имела не очень хорошие зубы, потому что очень увлекалась карамелью, а здоровым народным продуктом часто манкировала и суп, дай ей волю, не ела бы вовсе никогда.

Когда гости расходились, один из них, отведя мою мать в сторонку, а я сам увязался за ними, полушепотом сказал ей какой-то пошлый комплимент, который мне не запомнился, а еще, похваляясь, возможно, вольнодумием, прочитал стишок, который мне запомнился, хотя и был тогда малопонятен:

Товарищ Берия
вышел из доверия,
а товарищ Маленков
надавал ему пинков:
«Не хотел ты жить в Кремле,
так живи теперь в земле…»

Конечно, если глядеть в корень, стишок-то был верноподданнический. Но кто в нашей местности умел тогда глядеть в корень? Однако выходит, когда мой дядя женился, Сталина уже не было, но откровения двадцатого съезда еще не снились советскому народу и во сне. Еще выходит, что зря они меня, субтильного, но памятливого трехлетку, не принимали в расчет. Если бы принимали, может, я бы сейчас писал не эту, совсем другую повесть.

Или я слишком уж переоцениваю мою память, может быть, многое из того, что, как мне кажется, я помню лично, мне кто-нибудь рассказал гораздо позже? Да, наверное, не без того. Однако — вряд ли в очень существенной степени…

А зато у нас завелись родственники в Тюмени. Ну — не родственники, конечно, в полном смысле этого слова, которое означает кровную связь, однако — свои. Люди, которых, в принципе, уж если не полагается, то и не возбраняется иногда навещать, у которых считается удобным останавливаться,

наведываясь в город по делам или так, проветриться. И как принимаемая сторона, так и принимающая должны при этом как можно отчетливей демонстрировать друг другу, но больше окружающим искреннюю радость встречи. Ну, не нами заведено…

Дядю я любил очень. На мой детский взгляд, он обладал всеми теми мужскими качествами, которыми, по стечению различных обстоятельств, либо совсем не обладал мой отец, либо обладал лишь частично. И дядей я мог гордиться перед моими приятелями, а отцом не мог.

Дядя Леня был большой весельчак, юморист и даже иронист, он классно играл в лапту, городки и в «чижика», казался мне невероятно сильным и ловким, непринужденно, без всякой натуги матерился, что я, тогда еще только осваивавший некоторые специфические азы и буки, умел делать только шепотом и в полном уединении. Потом-то, конечно, избавление от антинародного комплекса и ко мне помаленьку пришло, чему я рад сегодня гораздо меньше, чем когда-то.

А еще мой дядя первым предложил мне попробовать курево. Притом в присутствии всей родни. Он сунул мне зажженную папироску, я с готовностью набрал дым в рот, подержал его там немного да и выпустил, горделиво глянув по сторонам, мол, все знаем, все умеем, вот только пока не понимаем, какое удовольствие люди от курения испытывают, но об этом мы пока никому не скажем, а постараемся понять позже и самостоятельно.

Но дядя надо мной добродушно посмеялся и объяснил, в чем состоит моя ошибка. И вторая моя публичная затяжка была уже предельно эффективной, ибо я сразу втянул дым в легкие, ничуть не задержав его во рту. Разумеется, я закашлялся до соплей, слезы хлынули ручьем, и все до упаду хохотали, кроме бабушки, перепугавшейся всерьез и немедленно приступившей к моей реанимации. Бабушка плакала вместе со мной, колотила меня по спине, отпаивала водой, сажала на горшок. И на чем свет стоит ругала безалаберного сына своего, хотя прочие присутствующие восприняли его выходку, наоборот, совершенно положительно. А родители-педагоги даже высказали общее профессиональное мнение, что случалось с ними совсем не часто, мол, это будет мне хорошим уроком на будущее и, возможно, даже навсегда отвратит от зелья.

Данный педагогический прогноз, как, наверное, и большинство педагогических прогнозов, совершенно не оправдался. Влечение к табачку с раннего детства напоминало о себе не раз, и дело было даже не в табачке как таковом, потому что по-настоящему пристрастился я к куреву лишь на первом курсе института, а до того это был лишь самый простой и самый

доступный запретный плод. Однако с ним связаны довольно забавные, а также весьма грустные впечатления детства, о которых еще обязательно пойдет речь, но несколько позже…

Итак, мы все с виду довольно счастливо обретались в Борках: отец вел в местной семилетке свою географию, мама работала воспитательницей, правда, не в детском саду, а в детском доме, открытом во время войны для блокадных детишек. А моя сестра уже подросла, и ее отдали в школу, я же остался на попечении бабушки, которая мне совсем не докучала, считала своим долгом вовремя и досыта меня накормить, а в остальном же, как и прочие обитатели деревни, полагалась на природу и Господа Бога, который тогда еще маленько присматривал за российской деревней и в которого бабушка верила довольно причудливой верой, напоминающей некий религиозно-мистически-сказочный винегрет, ибо по причине полной неграмотности о Библии она имела понятие какое-то, пожалуй, трепетно-языческое, основанное на самых фантастических слухах — вроде того, что человек, полностью прочитавший великую Книгу, должен непременно, бесповоротно и даже буйно помешаться…

Отец вел свою географию и явно старался как можно меньше «брать в голову». Платили ему крайне мало, пенсия за инвалидность была тем более мизерной, однако он, наверное, полагал, что делает все от него зависящее, и совершенно не видел повода упрекать себя в чем бы то ни было, то есть жил в полном и полюбовном согласии с самим собой.

В отличие от других учителей, многие из которых в те времена еще полагали себя не просто урокодателями, но и как бы миссионерами всемирной церкви Ленина-Сталина, отец просто хотел иметь сытую, безоблачную и полную маленьких — но если получится, то и больших — радостей жизнь. В связи с этим он только в самых крайних случаях ставил двойки, благодаря чему многие до сих пор помнят моего отца как добрейшей души человека, а человек всего лишь не хотел портить отношений вообще ни с кем, а также не имел ни малейшего желания удлинять свой рабочий день по собственной инициативе, поскольку двойки в те времена обязывали учителя сидеть со своими «послеурочниками» в постылой школе хоть до ночи — пока тупой и ленивый ребенок не усвоит необходимый материал.

Разумеется, следовать своим принципам отцу удавалось не всегда. Реальность то и дело вносила свои неумолимые коррективы. И невозможно было с ними не считаться совсем. И в случаях исключительных приходилось не только двойки ставить, но и вследствие этого какое-то время ощущать в воздухе чье-нибудь неудовольствие, раздражение и даже откровенную злобу.

Но это происходило крайне редко, а совсем не происходить не могло, небось не на облаке жили и живем…

Ей-богу, не помню, чтобы отец когда-либо бурно проявлял положительные эмоции. Либо он всегда сдерживался, либо, что кажется мне более вероятным, бурные эмоции не рождала папкина, лишенная существенных претензий, душа. Так что ни разу в жизни я не имел повода сказать: «Папка рад-радехонек!» — и порадоваться за него и вместе с ним.

Зато отрицательные эмоции помню. Они мгновенно вспыхивали только в одном случае, когда кто-нибудь из тех, на кого можно безбоязненно их обрушить, вольно или невольно покушался на самое ценное — душевный, тем более физический покой. Впрочем, если на душевный или физический покой покушались те, на кого обрушивать ничего нельзя, то доставалось опять же тем, на кого можно обрушивать все, что заблагорассудится. И тогда всплески отрицательной энергии казались вообще беспричинными, а потому еще более впечатляющими…

Хорошо запомнилось, как отец, столь мало, повторяю, озабоченный моим воспитанием, вдруг мгновенно взволновался тем, что именуется «культурой приема пищи». И без всяких предисловий врезал мне ложкой по лбу, отчего на лбу мгновенно набухла огромная шишка, которую бабушка потом точно такой же ложкой растирала, чтобы шишка приобрела более пристойные размеры. «А пусть не чавкает!»— невозмутимо пояснил отец.

Весьма вероятно, что тот карапет со старинной фотографии поступал с моим папой аналогично. И с ним еще в девятнадцатом веке аналогично поступали. Однако нельзя же вечно хранить порочную традицию!

А еще однажды, когда я своей шумной игрой мешал отцу творить его бесконечные «рабочие планы», он ласково подозвал меня к себе, даже посадил на свое единственное подходящее для сидения колено, потом достал из стола ножик и, продолжая лучиться улыбкой, сообщил, что намеревается отрезать-таки мой язык, чтоб я больше никогда не мог вредить его творческому процессу.

А у меня, признаюсь, тогда еще было неважно с чувством юмора. Более того, я понимал, что с этим чувством неважно и у отца, и очень боялся остаться на всю жизнь таким же дефективным…

Он-то меня через минуту выпустил из своих коротких, всегда ухоженных, почти не знающих физического труда, однако чрезвычайно сильных рук, выпустил, посчитав свою воспитательную цель достигнутой, причем даже без физического

воздействия на объект, а я потом бился в истерике, и бабушка, плача со мной за компанию, опять уговаривала меня сесть на горшок, а также попить парного молочка.

Еще несколько дней я довольно сильно заикался, и даже думали, что буду теперь заикаться всегда, но, к счастью, сия чаша меня миновала. Впрочем, я и без этого всю жизнь не испытываю недостатка в комплексах. Может быть, я даже целиком из них, любимых, состою…

Контингент детского дома, по рассказам матери, был очень специфическим. В детском доме посредством деревенского продукта, деревенского воздуха и традиционного деревенского чадолюбия (выдуманного, заметим, в незапамятные времена благодушными городскими публицистами) пытались возвращать к нормальному физическому и моральному состоянию малолетних ленинградцев. И среди них попадались такие экземпляры, вполне, между прочим, упитанные и физически крепкие, такие молодые волки попадались, что юные воспитательницы и нянечки, оставаясь на ночное дежурство, никогда не могли быть уверенными, что их нынче не изнасилуют и не прирежут.

Конечно, после войны уже столько лет прошло, деревенский воздух и деревенский продукт наполовину сделали свое дело, сделать же вторую половину во многих случаях было не под силу ничему и никому. И процесс воспитания в детском доме, хотелось это кому-то или нет, получался обоюдным. А пожалуй, даже и с некоторым перекосом в противоположную от задуманного сторону. Потому что те воспитанники, по которым плакала тюрьма, по окончанию детдома туда и попадали, а вот персонал учреждения, нигде не получивший предварительной моральной закалки и нравственной прививки, явно усвоил кое-что из дурных манер сироток. Впрочем, этот персонал и сам по себе вряд ли был каким-то отборным, то есть выросшим на безопасном расстоянии от бесчисленных и неувядаемых мерзостей жизни.

Так, из рассказов мамы запала в душу одна характерная история, случившаяся в детдоме, когда туда доставили из Тюмени очередную партию никому, кроме государства, не нужных детей уже не военного происхождения, а вполне мирного, буднично-бытового. И в этой партии оказался один, мягко говоря, нестандартный ребенок — плод порочной связи двух мифических персонажей — Гермеса и Афродиты.

В общем, был незамедлительно устроен импровизированный медосмотр, самозванные медички быстренько и без интереса осмотрели нескольких нормальных детей, проявивших полное равнодушие к очередному бесцеремонному вторжению в их

интимную сферу, но аномальный ребенок, совсем маленький, однако уже, наверное, успевший осознать всю горечь своей уникальности, артачился и плакал. Не хотел раздеваться.

Однако сопротивлялся не долго, усвоив из прежнего опыта, что взрослые никогда не бывают способны противостоять своему гадкому, глубоко порочному любопытству.

И знаете, меня всю жизнь преследует это видение, которое, разумеется, лишь продукт развитой фантазии, однако бывают же фантазии, которые воспроизводят упущенною реальность вроде особого, обращенного в прошлое фотоаппарата, раз уж настоящего фотоаппарата в нужный момент ни у кого под рукой не оказалось.

Отчетливо вижу этого человеческого, что ни говори, детеныша, голенького, окруженного плотным кольцом сидящих на корточках великовозрастных девах, некоторые из них не только молодые специалистки, но и комсомолки, вижу даже, как самая пытливая из них опасливо трогает холеным пальчиком сей чрезвычайно редкий для человеческой природы предмет…

К счастью, я не вижу, чтобы кто-то из присутствующих в этот момент гадливо хохотал, однако не исключаю, что отдельные прысканья в кулачок вполне могли быть, однако тут моя фантазия упирается в некий невидимый, но непреодолимый болевой барьер — хватит уже, хватит, и так — перебор…

Между тем мама упорно продолжала считать свои отношения с отцом досадной, но вполне устранимой случайностью. Насчет случайности возразить абсолютно нечего, а вот относительно легкой устранимости, то это — вряд ли…

Другими словами, как ни пошло это звучит, мать, несмотря ни на что, продолжала ждать уже упоминавшегося «принца». А я, родившись в эпоху действия памятного указа, запрещающего аборты, сам того не желая, нанес по ее любимой иллюзии очередной ощутимый удар.

Из-за чего, как я понимаю, мама помимо нормального материнского чувства испытывала ко мне и какое-то другое — не менее сильное. И то одно, то другое брало верх. Кроме того, мать почему-то сразу вбила себе в голову, что, если повседневно, не покладая рук, не поддаваясь, самое главное, душевной слабости, заниматься моим воспитанием, то я непременно вырасту таким ученым чудовищем, что содрогнется весь Советский Союз. Тем более что внешностью своей я, чем дальше, тем больше, напоминал отца.

Потом я не раз еще наблюдал подобное явление, когда выросшие в либеральных семьях дети вдруг, возглавив собственные семьи, делались жуткими деспотами. Хотя и

обратное наблюдать тоже доводилось не раз, из чего я позволил себе сделать вывод: мало на свете людей, которые, обретя зрелость — что само по себе весьма и весьма относительно, — вполне довольны тем, как их воспитывали родители. И счастье, что не все, учтя действительные или мнимые ошибки родителей, впадают в противоположную крайность. Многим все же хватает здравого смысла избрать нечто среднее — интуитивно или осознанно.

Впрочем, сам-то я данный вывод, можно сказать, в своей личной практике совершенно не использовал, а сразу, как только представилась возможность, выразившаяся в рождении первой дочери, впал в крайность. И потом еще впадал не раз…

Конечно, я рос далеко не пай-мальчиком. Хотя вообще-то долгие годы смотрелся заморышем, а нормальный рост набрал только где-то к девятому классу.

Мое поведение довольно часто должно было внушать родителям законную тревогу, и довольно часто они имели все основания проявлять примерную строгость, но память почему-то сохранила совсем иные случаи, почти не сохранив то, что можно считать пусть суровым, но справедливым. Однако ничего с этим не поделаешь, ведь если понять можно все, простить — почти все, то забыть по собственному усмотрению никакой пустяк невозможно, память наша нами не контролируется…

Как-то в начале лета — только-только зазеленела трава в лесу — мы с ребятами отправились, по обыкновению, в ближайший лесок, весь насквозь просматривавшийся из наших окон. И там один большой, эрудированный, по-видимому, мальчик вдруг елейным голосом предложил;

— Хочешь ягодку, Санька?

— Конечно, — ничего не подозревая, немедленно откликнулся я, щербато и доверчиво лыбясь, протянул замызганную ладошку.

Но ягодку мальчику взять было пока неоткуда, поэтому вместо ягодки он предъявил мне для ознакомления и принятия к сведению незнакомую прежде конструкцию из трех пальцев, которую осмыслить без посторонней помощи я, разумеется, не мог; однако повторить сумел запросто.

А потом еще раз повторил, когда домой вернулся. Уж очень не терпелось блеснуть перед моими близкими новым навыком.

— Бабушка, хочешь ягодку?

— Хочу, солнышко мое, очень хочу!

— Так — на!..

Уже через мгновение я был до нитки раздет, вытащен на улицу и публично порот самым безжалостным образом. Причем,

даже без оглашения приговора, из которого бы явствовало, за что же я приговорен к столь исключительной мере воспитания. Разумеется, сам факт порки означал, что конструкция из трех пальцев предъявителя не красит. Но почему — это я уяснил много позже…

А потом примерно таким же образом я был подвергнут воспитательно-педагогическому приему, когда вернулся домой после прогулки по главной улице села, где располагалась вся наша торговля и, следовательно, чаще всего кучковался народ. Потому что я вернулся домой только с виду примерным мальчиком, но при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что у меня полная штанина окурков.

(Знаете, раньше детям шили такие штаны простейшей конструкции и чаще всего из вельвета, мне они до сих пор помнятся как удобнейшая вещь. Штаны оснащались одной, также вельветовой, помочью — или двумя, штанины под коленками застегивались на пуговки, передняя и задняя половинки тоже посредством пуговиц соединялись на талии, но оставались еще две дырки — для прохода воздуха, надо полагать, — дырки с виду напоминали карманы и, в случае острой нужды, вполне могли в этом качестве использоваться, только содержимое оказывалось не в кармане, а в штанине, засунутая же с независимым видом в псевдокарман рука ощущала вашу пупырчатую ногу или еще что-нибудь — тоже ваше…)

А нужно заметить, что в те времена сигарета была предметом сравнительно редким, публика курила в основном, как я уже отмечал, мелкие папироски типа «Север» и «Прибой», а также «Беломорканал», считавшийся почти шикарным и употреблявшийся строго по назначению, а не как теперь — для подмены табака марихуаной.

Кроме того, противопожарное сознание населения тогда было на высоте, еще мало кто, тем более в деревне, жил в каменных коробках, сравнительно не горючих, а потому использованное курево всегда весьма тщательно тушилось — просто бросить папироску на дорогу могли себе позволить только самые отпетые, а добропорядочные же полагали своим гражданским долгом сперва тщательно заплевать тлеющий окурочный кончик, а потом, для гарантии, расплющить его, растереть вращательным или возвратно-поступательным движением обуви.

В общем, то, чем я с немыслимым усердием наполнил штанину, для повторного раскуривания совершенно не годилось. И это было абсолютно очевидно любому из тех, кто видел, чем я занимаюсь, и кто настучал на меня моей мамаше. Но ведь и она, совершенно самостоятельно и без малейшего напряжения, могла

уразуметь элементарное. И потому остервенение, с которым била меня за эту провинность мать, поддается только одному объяснению — она входила в раж, теряла всякий контроль над собой, и, может быть, ей даже в припадке ярости казалось, что не я верещу от боли и страха в ее руках, а нелепая судьба, с которой довелось-таки посчитаться…

И лишь одному объяснению поддается мое тогдашнее непостижимое усердие — видимо, это был впервые проснувшийся спортивный интерес, первое проявление увлекающейся натуры. А больше — что?..

Между прочим, уже на следующий после экзекуции день я занимался тем же самым, пытался быть осмотрительней и хитрее, но опять, наверное, помаленьку увлекся, забылся, и голос матери прозвучал для меня воистину громом среди ясного неба.

Мама окликнула меня (удивляюсь, как я от ужаса в штаны не надул), я пошел на зов, как, наверное, идут люди к виселице или плахе, но, о, чудо, мать каким-то образом не заметила столь вопиющего факта — видать, еще штанина не слишком оттопыривалась. И мы куда-то пошли вместе, а через минуту я попросился в ближайшую подворотню по нужде и там, умирая и рождаясь одновременно, расстегнул пуговку под коленкой…

Вот было счастье! И как же близко иногда ходит от него не менее огромная, затмевающая весь свет беда…

С той поры панический ужас разоблачения мгновенно пробуждается во мне, стоит мне лишь подумать о возможности совершения какого-нибудь неблаговидного поступка. Поэтому я капли не выпью, садясь за руль, ибо эта несчастная капля будет потом вопить и голосить при виде всякого человека в мундире, мол, вот она, я, мол, хватайте меня, люди служивые! И когда мне, как всякому советскому человеку, приходилось что-нибудь нужное для домашнего хозяйства тянуть с родного предприятия, Боже, как мне каждый раз было страшно!..

Вот, наверное, в основном из-за этого страха я сравнительно мало неблаговидных поступков совершил на своем веку. Так что воспитательную цель можно считать достигнутой. И значит, средство позволительно оправдать. Если, конечно, данный принцип не вызывает у вас чисто физического отторжения…

К счастью, страсть к собирательству окурков прошла быстро. Но когда через несколько лет я заразился филуменией — не правда ли, звучит как диагноз, а между тем это всего лишь разновидность собирательства, — то дело приняло куда более затяжной характер и, чуть не став хроническим, насилу оставило меня, когда оставило меня само детство. Но об этом позже…

В общем, так выходило, что пороли меня довольно часто. В

среднем, еженедельно. И почти всегда это делала мама. А бабушка, то есть ее мама, пыталась, хотя в основном и безрезультатно, заступаться за меня, непутевого, причем в непутевые меня зачислили лет, наверное, с трех. И нередко между женщинами происходил примерно такой диалог;

— Ну, не бей ты его, что ты его все время бьешь, бей уж лучше тогда меня!

— Мама, отойди, не встревай, не наводи на грех!

— Так ведь ты его уродом сделаешь, кому он будет нужен, урод-то? Лучше уж убей…

— И убью, раз не понимает!

— Так ведь посадят тебя, Анна!

— Пускай посадят — отсижу. И там люди живут. Зато буду знать, что нет больше на свете этой дряни такой…

Разрази меня на месте гром, если я хоть ничтожную толику тут присочинил…

А между тем совершенно не помню, чтобы подвергали экзекуциям сестру. Да, точно, ее никогда экзекуциям не подвергали! Попробовали бы они — она б им показала! Потому что у Нади характер был. Не то что у меня. Даже когда ее, случалось все-таки, в угол ставили, то она, казалось, могла бы там до смерти простоять. И выходила из угла непокоренной, с гордо поднятой головой.

Я же такой роскоши, как гордость, позволить себе не мог. Либо мешали обстоятельства, либо, что скорее всего, был с самого рождения совершенно деморализован, уничтожен, превращен в руины, которые только я знаю, как трудно было потом восстанавливать, а многое, наверное, не удалось и никогда не удастся восстановить.

Я, поставленный в угол, а стало быть, избежавший на сей раз традиционной порки, лишь ради проформы выдерживал минут пять и принимался канючить, выклянчивать свободу. И для этого мамой была разработана специальная текстовка.

— Я больше не буду-у…

— Ты с кем разговариваешь? Со стенкой разговариваешь? Отойди от стенки и не ковыряй…

— Мама, я больше не буду-у-у…

— Чего не будешь?

— Так дела-а-ть…

— Как? Как ты не будешь делать?… И не колупай, сказала, стенку, а то щас излуплю всего!

(А порой я, ей-богу, не мог никак сформулировать, что и как обязуюсь впредь не делать. Ну, не хватало мне пока еще гуманитарного образования…)

— Не знаю-ю-ю…

— Тогда еще постой, подумай, может, думать научишься прежде, чем в угол залетишь на другой раз…

В итоге доведенная до окончательного совершенства речевка, призванная дать мне волю, звучала так: «Мамочка родненькая, прости меня, пожалуйста, я больше не буду пачкать штаны никогда в жизни». На что мать отзывалась долгожданным, звучавшим как музыка: «Ладно уж, прощу в последний раз, но если ты еще будешь, так и знай — впредь легко не отделаешься…»

Нет, не могу вспоминать горькое в больших дозах! Надо скорей разбавить эту пилюлю, надо, хотя бы на время, переключиться…

В деревеньке под Тюменью мы не зажились, и многое из того, о чем я уже, забегая безбожно вперед, успел рассказать, произошло в других местах.

Отец мой вдруг заразился страстью к перемене мест, и к моему восьмилетию, когда мы очутились в Арамили и застряли, нас успели запомнить еще поселок Заводопетровский, также Тюменской области, и станция Карпунино Свердловской железной дороги.

Наверное, все-таки папа мой был географом по призванию, а не по случайности. Едва начав работать в школе, он обзавелся двумя внушительными атласами — один СССР, другой мира, один живет теперь у моей сестры, другой достался мне, — и потом отец до конца своих дней долгие часы проводил, перелистывая их, да разглядывая картинки, да по временам задумчиво глядя в окно. Уж не знаю, какие страны и континенты мерещились ему при этом, однако именно на страницах географических книг он отыскивал места нашего будущего жительства, еще более счастливые, по замыслу, места.

Конечно, такой поиск давал лишь предварительные ориентиры, далее наводились различными способами более конкретные справки, потом отец садился писать письма в инстанции, а также директорам неведомых школ, где сообщал о своем намерении поделиться своими капитальными познаниями в географии, а также и в общей биологии, если ему будут обеспечены некоторые бытовые условия.

Что любопытно, начинал отец всегда с наиболее благодатных уголков нашей необъятной Родины — Крыма, Молдавии, Украины, потом, неизменно готовый к компромиссу, ничего не имел против Поволжья и Северного Кавказа, потом уже готов был согласиться на Башкирию и некоторые районы Казахстана, то есть, как мы видим, радиус поиска все уменьшался, неумолимо

стремясь к нулю. И в итоге каждый раз мы оказывались в очередной, забытой богом и начальством дыре…

Поселок Заводопетровский запал в душу небольшим стеклодувным заводом и населением, почти полностью состоявшим из ссыльных калмыков, то есть, социально близкого нам элемента, однако — национально — весьма и весьма далекого.

От тех времен осталось немало фотодокументов, но пока расскажу лишь об одном, где я стою на фоне большой группы калмыцких старушек (моя не лишенная чувства юмора сестра предлагала так и назвать этот снимок: «Я и калмыцкий народ»), на мне неопределенный костюмчик и бескозырка с ленточками, на бескозырке написано «Герой», но вид у меня отнюдь не геройский, наверное, мне очень холодно и не терпится скрыться куда-нибудь в тепло.

А на заднем плане виднеются фрагменты неких лозунгов и транспарантов, что дает возможность знать точно — это я участвую в первомайской демонстрации трудящихся 1955 года. То есть там, в пятьдесят пятом, еще ничего не зная о приближении знаменательного для них партийного толковища, старушки тем не менее уже демонстрируют свою солидарность со всеми, на кого строгие русские дяденьки укажут, а что они скажут после съезда?..

Впрочем, эти лица, эти убогие платки на бабушкиных головах, завезенные в заводопетровский орс еще, наверное, во времена Тобольского централа, этот первомайский ветер, явственно дующий с фотографии, все это оставляет открытым любой бытийный вопрос…

В Заводопетровском я чуть было вправду не погиб. Потом эти «чуть» еще не раз повторялись и, может быть, даже где-то набили оскомину, но первый случай помнится особенно отчетливо.

В общем, захотелось мне прокатиться на автомобиле, а сосед-шофер был вредный, гордый, насмешливый и никогда никого не катал. Все один ездил, как барин.

А я решил его перехитрить. И когда сосед приехал на обед, я потихоньку затаился на обширной — теперь таких не делают — подножке справа. И дождался.

Но когда машина тронулась, мое более чем скромное мужество меня моментально покинуло, видать, первым спрыгнуло с подножки, а я уж — за ним. И оказался менее ловким.

Так что колесо на меня слегка даже наехало. Уж очень отчетливо помню удушливый дым в лицо и слово в мозгу — «гарь». Такое краткое, взрослое, техническое слово, которым ни

ужас, ни радость не выразишь. Бесчувственное слово — почему именно оно?..

Но, наверное, я все-таки кричал, и, наверное, незаурядно. Потому что шофер остановился очень вовремя. Он же, насмерть перепуганный, принес меня на руках домой. Мне тогда колесом содрало здоровый лоскут кожи на боку, отчего ребра — и прежде-то почти ничем не прикрытые — стали видны, будто через мутное стекло.

А еще я потом хромал несколько месяцев — ковылял в валенках по избе. Считай — повезло. Как и потом везло много раз. И вроде бы не пристало мне обижаться на судьбу…

Так я и не обижаюсь. А просто вспоминаю — о том, о сем…

Но был еще один шофер, который, в отличие от соседа, наоборот, то и дело зазывал покататься. А я, видимо из-за врожденной моей деликатности, иногда садился к нему в кабину, но чаще старался под каким-нибудь надуманным предлогом отклонить с виду такое заманчивое предложение. И дело вовсе не в полученной посредством автомобиля травме, которая, увы, абсолютно ничему меня не научила, а в том, что я, тогда еще дошкольник, либо чувствовал, либо уже доподлинно знал, что обладатель романтической профессии, почти летчик, не из чистого чадолюбия ко мне в друзья набивается, а угрожает самому, может быть, краеугольному для меня в тот момент… Да нет, это совсем не то, о чем вы уже подумали, читатель. Словом, однажды мама вдруг в страшной спешке собрала кой-какой скарб, нас с сестрой собрала, а бабушка в это время обреталась у дяди Лени в няньках и в пошловатой трагедии, на свое счастье, не участвовала.

И мы сели в поезд, где как бы по чистому совпадению сидел уже тот, почти летчик, улыбаясь нам, как сказали бы теперь, вымученной голливудской улыбкой, а тогда такие улыбки назывались идиотскими.

И мы поехали в город Туринск на новое местожительство и с новым папой. То ли у него там родня какая-то жила, то ли там всем шоферам с ходу отваливали отдельные комнаты в бараках, то ли еще что…

А в Свердловске либо пересадка должна была состояться, либо просто длительную стоянку нашему поезду устроили сочувствующие нам железнодорожники…

И там, чтоб не тратить даром время, наш новый папа одолжил у нашей не новой мамы семьдесят пять рублей образца сорок восьмого года и с загадочным видом исчез куда-то, не успели мы заподозрить в нем банального мелкого жулика, как он вернулся, и мы его с трудом узнали. Ухмылка, приклеенная к

лицу, сделалась еще более придурковатой, а на голове вместо нормальных, плохо мытых волос цвета воронова крыла красовался так называемый «перманент». В аккурат — семидесятипятирублевый…

Теперь, задним числом, я думаю, что, весьма возможно, этот шебутной водило вовсе не был совсем уж глупым, тем более негодяем. А если вел себя кое в чем не вполне адекватно, так это легко понять — не каждый день уводишь от мужа жену, да еще с двумя малолетними детьми, да еще везешь их всех в полную неизвестность, не имея при этом в кармане — по роковому стечению обстоятельств — даже семидесяти пяти рублей на химические кудри, абсолютно необходимые для налаживания полного и окончательного взаимопонимания со свалившейся как снег на голову семьей. Будешь тут выглядеть круглым идиотом…

Впрочем, тут я, может, очень сильно заблуждаюсь, ибо никогда в жизни не попадал в ситуации, даже отдаленно напоминающие эту, — жизнь моя, на взгляд любвеобильных мужчин да и женщин, получилась непростительно будничной и серой — впору от тоски удавиться, а я, наоборот, стараюсь именно этим обстоятельством гордиться, что любой желающий может легко объяснить себе, ну, хотя бы тем, что надо же человеку хоть чем-то гордиться, раз уж он так бездарно промотал свою жизнь.

И мы, то есть мама, сестра, я, отправились в противоположную от намеченной прежде сторону. Перекомпостировали билеты на Тюмень. А куда двинул тот кудрявый шоферюга, я не знаю. Но уж коль скоро наши денежки пропали, то я очень надеюсь, по крайней мере, не пропали семидесятипятирублевые кудри, а приглянулись еще какой-нибудь «принцессе». Может, он двинул, как и намеревался, в Туринск, может, еще куда, но в Заводопетровском я его больше не встречал. Стало быть, что-то вроде любви все-таки имело место.

Однако не помню, чтобы его расставание с нами, в смысле — с мамой, было очень уж трагичным. Иначе я обязательно бы запомнил. Тот дядя, который едва не стал моим новым отцом, не бежал долго-долго за нашим поездом, делая отчаянные знаки и обливаясь слезами, и не падал плашмя на бетон, прежде чем навсегда скрыться из виду.

Может, таких душераздирающих расставаний в жизни вообще не бывает, но если самые разные люди то и дело воспроизводят их на бумаге и кинопленке, значит, не мне одному подсознательно хочется, чтобы нечто такое хоть изредка, хоть не с нами, но случалось в реальной жизни…

Мы заявились в Тюмень, а отец уж был там. Видно, ему стало

невмоготу находиться в одиночестве на проклятом месте, и он не придумал ничего лучшего, как отправиться зализывать душевные раны к родственникам бросившей его жены — к шурину, автоматически переставшему быть шурином, к теще, также переставшей быть тещей. Видно, он уже совсем к тому моменту забыл, каким бесцеремонным образом появился когда-то среди этих людей.

Но вполне вероятно и то, что это самое появление он бесцеремонным никогда не считал — вообще не знал, что означает слово «бесцеремонность».

Или он просто угадал как-то, что все именно этим у матери и кончится?..

Наверное, промеж родителей произошло некое объяснение, но мне лично, разумеется, никто ничего не объяснял. Так или иначе, эти два случайных друг для друга человека мало-мальски подлатали свой семейный корабль да и поплыли дальше…

Мамины подрезанные крылья, с чем она упорно не хотела считаться, после неудачного перелета в райские туринские края, где любви, счастья и бараков хватает в избытке на всех, довольно долго имели крайне потрепанный вид. Однако время лечит все, в том числе и крылья…

А вообще-то жили мы тогда довольно бодро. То и дело по разным поводам в поселке устраивались увеселения, попросту называвшиеся массовками, но мои родители всегда именовали их полным титулом — «массовые гуляния».

Чаще всего они случались, наверное, в дни так называемых «профессиональных праздников», но коллективно выпить и покуролесить считалось незазорным и по большим «красным» числам, а также в обычные воскресенья, лишь бы погода позволяла.

Начальству-то никаких хлопот — только брось клич. Активисты найдут некое живописное место на лоне природы, а на лоне природы, по сути дела, все места живописны, только бы большой помойки поблизости не наблюдалось, а люди уж сами подтянутся, приволокут все необходимое и достаточное, от гармошки до картошки. Тогда ведь, между прочим, самогонка уже возбранялась, но бражка еще не возбранялась. Более того, она свободно продавалась гранеными стаканами в различных забегаловках.

Массовки проходили чрезвычайно шумно, игриво и почти всегда кроваво. Нас, детей, туда тоже брали. После массовок в доме появлялись фотографии, запечатлевшие родителей в состоянии веселости в забавных позах среди множества чужих людей. Фотографии наклеивались, но чаще просто вставлялись в

альбом, где имелись такие специальные дырочки. И альбом ложился на полку до следующего раза. Однако я любил его содержимое разглядывать и чаще, если случалось настроение. И с удивлением обнаруживал странные перемены — дядьки, с которыми мама иной раз в обнимку снималась, оказывались безжалостно отрезанными ножницами, а их руки оставались на месте, что давало мне повод для жутковатых, но одновременно и саркастических фантазий.

Не думаю, что эти ампутации производил отец, скорее, ими занималась мама, во-первых, как бы превентивно, а во-вторых, наверное, иной раз ей и самой было неловко — часто протрезвевшему человеку бывает неловко за себя нетрезвого…

С тех самых времен и звучат в моих ушах песни советских композиторов, песни родительской молодости. Конечно, песни моей молодости тоже который раз звучат, но чтоб хоть одна до конца — нет. Зато более старые помнятся от первой до последней строчки, их я всю жизнь и пою, причем не по случаю праздников и возлияний, а просто так. Пою, изумляя моих домашних, а также и самого себя фантастической емкостью и неразборчивостью человеческой памяти.

А мои ставшие взрослыми детишки, когда выпьют, любят предаться «караоке». И я эту «караоку», как только узнал, сразу и безоговорочно одобрил. Могут же, сволочи сытые, и душевные вещи изобретать.

Одобрил, но еще и в наблюдении своем, внушающем оптимизм, дополнительно утвердился; нет, не умирает в человеке потребность идти, ковылять, ползти с песней по жизни, а это что-нибудь да значит в эпоху компьютеризации, с одной стороны, и очевидного одичания — с другой…

Помимо масовок еще и дома собирались. «По несколько пар». Дети, понятно, не в счет. И тоже горланили песни, чтобы слышала вся улица, тоже немало выпивали всевозможных настоек, приготовленных для быстроты созревания и крепости на дрожжах, тоже, случалось, целовались в темных углах с чужими мужьями да женами, а потом дрались на этой почве, ломая мебель и посуду, впопыхах награждая фингалами совершенно неповинных людей.

Благодаря этим гулянкам я года в четыре — не позже — впервые почувствовал, что это такое — алкогольная эйфория. Причем отнюдь не моя собственная пытливость тому виной — строгая мама считала возможным поднести сыночку «рюмочку слатенького». А уж после этой рюмочки, как говорится, сам Бог велит, дождавшись конца мероприятия, сливать из опустевших бутылок последние капли занятной влаги, дающей человеку такое

странное и такое приятное ощущение безграничного шалопайства…

Впрочем, я далек от того, чтобы винить мать в моем последующем пагубном пристрастии. Думаю, я всем своим существом, так или иначе, рано или поздно обречен был обязательно к этому прийти. Прийти, убедиться, что плата за «безграничное шалопайство» лично для меня может оказаться совершенно неподъемной, и вернуться назад. Насколько вообще возможно такое возвращение…

Но вообще-то, чтобы не создалось ложного впечатления, болезненным влечением к обильным и шумным застольям мои родители все же не отличались, и гулянки в нашем доме случались реже, чем в некоторых других домах, а до драки дело доходило совсем редко — лишь когда для пробы приглашали малознакомую «пару». Обычно же пристойность соблюдалась достаточно тщательно — интеллигенция все ж, неудобно…

Отца было совсем не слыхать — он песни либо не пел вообще, поскольку имел полное отсутствие музыкального слуха, либо, уж если делалось невмоготу, подпевал чуть слышно, чтобы не портить общую песню.

Мама, наоборот, при полном отсутствии голоса старалась выводить как можно громче и проникновенней, взяв одну тональность, так ее и вела — то доходя до пронзительного крика, то, наоборот, опускаясь до шепота.

В разговоре она тоже усердствовала за двоих. И очень часто, если у нее в тот день не было намерения с кем бы то ни было целоваться в темном углу, мама хвасталась мужем, объясняя всем присутствующим, а в первую очередь самой себе, почему она, такая умница и красавица, выбрала однажды именно его — случайного по всем приметам человека. Мама так и говорила — «выбрала», совершенно в такие моменты забывая, что никакого выбора она в свое время не делала, ибо не было для этого ни малейшей возможности.

Она так и говорила — «умница и красавица», хотя ни умницей, ни красавицей, как мне представляется, даже в самые лучшие свои годы не была, о чем и фотографии неумолимо свидетельствуют, однако много ли вы видели женщин, которые, глядя в зеркало, не испытывают безграничного очарования?..

Мама объясняла свой выбор присутствующим скрупулезно и пунктуально. Во-первых, — не алкоголик. Во-вторых, — умный, культурный, интеллигентный, — а каким еще может быть человек, имеющий два диплома о высшем образовании? В-третьих, жену любит и никогда не дерется (попробовал бы он). В-четвертых, умеет прощать, если что. В-пятых, нормально

относится к детям и теще. И в-шестых, наконец, замечательный любовник — «пять палок бросит и еще просит». А если кто сомневается, пусть попробует. Не жалко.

И всем после этих выкладок делалось еще веселее. Отец краснел, хлопал смущенно — но как бы и горделиво — своими маленькими хмельными глазками, рядом сидящие дамы на глазах у мужей начинали проявлять игривое внимание к разрекламированному гиганту поселкового секса, мужья как бы сердились, охотно принимая предложенную забаву, изображали непреклонную ревность, сводя брови к переносице и крича через стол: «Ну-ка, Палыч, пошли выйдем, разберемся, что ты там у моей жены нащупал под столом!»

Потом начинались танцы — уже не под балалайку и не под патефон, а под баян или радиолу, отец снисходительно, великодушно и словно бы покровительственно глядел, как мама танцует с чьим-нибудь мужем что-то навроде фокстрота и тот шепчет ей на ухо какие-то пошлости, отчего мать заливисто хохочет и тоже шепчет что-то в ответ…

Абсолютно уверен — отец не изменял матери ни разу. И он бы никогда не узнал никакой другой женщины, если бы мать не предоставила ему такую возможность, не заставила бы его расширить кругозор.

К счастью, мы с сестрой были к тому времени уже вполне взрослыми. А отец, как видно, нуждался не только в женщине, но и в семье. И двух самых красивых своих детей сделал после пятидесяти. Каков орел, а!

А еще во время застолий на маму мою нередко накатывал приступ чадолюбия, и тогда незамедлительно отлавливался я, вечно вертящийся под ногами и вечно всем мешающий, притискивался к маминым округло-уютным коленям, и сверху на меня вдруг накатывала такая мощная волна материнского первобытного чувства, что мне делалось маленько дурно.

Мать обцеловывала меня, шептала на ухо какие-то грубоватые нежности, а сама между тем глядела не на меня, а поверх моей головы, ища одобрение в глазах гостей и легко его находя, потому что только с одобрением и можно было глядеть на столь безусловное проявление первородного чувства, и не важно, кто перед вами — корова с теленком, лошадь с жеребенком или женщина с ребенком…

И в такие моменты я с легкостью и полной готовностью забывал все-все обидное. И моя ответная любовь была беспредельной. Впрочем, в том возрасте я и так, несмотря ни на что, любил мою мамочку существенно больше, чем все остальное человечество. И мои душевные раны рубцевались моментально,

так что, казалось, не оставалось ни малейших следов. Однако пришло время, и старые раны дали о себе знать. Так, говорят, всегда бывает со старыми ранами, если они, конечно, были достаточно глубоки.

Но в детстве я любил мать, не умея заглянуть в будущее, обиды копить вовсе не помышлял, однако они почему-то сами собой копились. К тому же, наверное, я был более раним, чем иные, если угодно, нормальные дети. Потому что порой ранили меня до самой моей сердцевины такие вещи, которые мало кого вообще трогают.

Не представляю, откуда это взялось — возможно, лет двести назад какой-нибудь аристократ какую-нибудь свою холопку испортил, — но требовательность моя к предмету обожания, то есть к матери, по стандартам нашей местности была совершенно непомерной. Хотя, конечно, никаких моих требований никто никогда не слышал. Но я периодически закатывал истерики, причина которых так и осталась не ведомой никому, — не мог же я сказать, что превнесенное мамой матерное слово для меня во сто крат больнее ремня, поскольку от ремня мое видавшее виды тело болит самое большее два дня, а от матерного слова моя уязвимая душа страдает, самое малое, две недели.

Забавно, однако примерно так же я однажды отреагировал на мамину жалкую попытку испробовать косметики — ну, не вписывалась косметика в мое тогдашнее понимание прекрасного, ибо представлялась атрибутом падшей женщины, как, скажем, и папироска…

Однако хватало же ума держать язык за зубами, понимал небось — стоит проговориться, и враз за психа сочтут. Тем более что и без этого психом не раз обзывали. Кто? Конечно же, мать.

А отец ничем таким явно не страдал. Хотя поначалу, возможно, было и в нем что-то такое, да мать это самое «что-то» быстренько выполола, как вредный сорняк, у меня же он уцелел, видимо, по недосмотру…

Инициатором всех наших перемещений в пространстве был, повторяю, отец. Он подыскивал географический пункт, гонял туда на рекогносцировку, готовил место для грядущей высадки на неведомый, хотя и вполне обитаемый, остров. А нам лишь оставалось следовать его зову.

И я до времени терялся в догадках, как оно так получается, что отец, имеющий столь низкий рейтинг в семье, такое важное дело решает практически единолично, а маме с бабушкой остается только, ропща и стеная, вязать узлы, распродавать или бесплатно раздавать иной скарб, который нет смысла перемещать на большое расстояние — транспортные расходы явно

перекрывали остаточную стоимость вещей.

Терялся я в догадках, но потихоньку стал догадываться. И когда стал взрослым, догадки переросли в уверенность — это мы в основном от общественного мнения убегали, ибо общественное мнение в малых человеческих поселениях да по отношению к отдельным категориям граждан — страшная вещь. В силу чего гражданину, имеющему право ношения рогов, настоятельно не рекомендуется подвизаться на ниве народного образования. Равно как и супруге его. Вот если бы они развелись, как гордые и принципиальные люди, тогда бы — другое дело.

После Заводопетровского посреди лютой зимы очутились мы на малой железнодорожной станции уральского севера, которая, вопреки мрачным, как всегда, пророчествам бабушки, встретила нас куда гостеприимней, нежели предыдущее местожительство, с которым лично я расстался без всякого сожаления, из-за малого возраста не умевший еще привязываться к неродным людям и тем более какой бы то ни было местности.

Станция, которая звалась Карпунино, встретила нас невероятным изобилием электричества, такого количества бесплатного электричества мы не видели нигде, кроме областных центров, поэтому глухой таежный поселок при станции мама сразу сравнила с Москвой, в которой пока еще не была, но знала, что там, вне всякого сомнения, свет экономить не могут.

В оставленном же Заводопетровском с электричеством было туго — его давали на несколько часов в сутки, а розетки запрещались вовсе, вместо них ушлые аборигены делали некую штуку, которая вворачивалась в патрон вместо «лампочки Ильича» и называлась «жуликом» в отличие от самодельного предохранителя, который именовался «жучком».

На новом месте мы были тотчас поселены в новую двухкомнатную квартиру свежесрубленной из бруса двухэтажки, в ней даже стены еще не были оштукатурены по причине спешки и дефицита песка, однако обещание когда-нибудь устранить недоделку, разумеется, имелось. Кроме того, туалет с выгребной ямой был заколочен большими гвоздями, поскольку грунтовые воды стояли вровень с кромкой дощатого «урыльника» — предмета, отдаленно напоминающего унитаз и снабженного для убедительности длинной жестяной воронкой вроде рупора, посредством которого таежный ветер иной раз воспроизводил замысловатые авангардные мелодии, до дрожи пугая счастливых новоселов, пока те наконец не сообразили, в чем дело, и не начали состязаться в придумывании шуток на сей счет.

Разумеется, туалетная проблема тоже считалась временной, но если учесть, что во дворе имелся просторный, добротно

сработанный и окрашенный известкой дощатый нужник, то было абсолютно очевидно — если даже стены когда-нибудь оштукатурят, грунтовые воды все равно не победить никому.

Впрочем, очевидно это было лишь взрослым людям, а мы с сестрой пока еще верили любым обещаниям, тем более исходящим, в конечном счете, от партии и правительства, правдивость которых сестра уже проходила в школе и кой-когда делилась наиболее ошеломляющими знаниями со мной.

Время показало, что скептицизм взрослых был более оправданным, чем наш оптимизм.

И тем не менее это было наше первое автономное жилище, впервые мы были почти настоящими его хозяевами, и хотя обитатели дома согревались в стуже так же автономно, то есть имея для этого обыкновенные дровяные печи, зато электричества в квартирах было — залейся…

И вот, едва дождавшись первого утра на новом месте, едва очутившись на улице, я рванул в маячившую совсем неподалеку тайгу. Собственно, интересовала меня не тайга, потому что я еще не знал, чем она принципиально отличается от уже известного мне леса, а настоящая живая елочка, которая росла несколько ближе ко мне, чем прочие деревья, сливавшиеся в сплошную темную стену. И казалось, что до елочки совсем рукой подать.

Прежде-то я имел дело из вечнозеленых растений только с соснами, но знал, что самое новогоднее дерево — ель. А как раз либо свежи были воспоминания о новогоднем празднике, либо, наоборот, он только приближался. Первое — более вероятно, потому что вряд ли отца отпустили бы посреди учебной четверти.

В общем, елка влекла меня безумно, и, скорей всего, я даже не успел придумать, что стану с ней делать, когда достигну. Может, всего лишь потрогал бы…

Я по шею утонул в снегу, когда до заветной цели оставалось совсем чуть-чуть. Испытав ужас попавшего в снежную лавину, я стал дурным голосом орать. Чем моментально запомнился новым соседям, которые, конечно, слышали, как мы ночью шарашились со своими узлами да баулами, но познакомиться и подружиться с нами еще только собирались, деликатно дожидаясь, пока мы отдохнем с дороги.

Вызволила меня из снежного плена бабушка, извечная спасительница моя. Но вопреки моему предчувствию, никакого наказания за неразумную выходку не последовало — мама была настроена благодушно и даже допытываться не стало, какого рожна мне понадобилось в тех непроходимых снегах уральского урмана. И я было подумал, что теперь, на новом месте, всегда будет так хорошо. Опять он — оптимизм детский, основанный на

слабом знании жизни, но главным образом — на медленно изживаемым страстном желании, чтобы все плохое когда-нибудь заканчивалось.

Отец стал работать в железнодорожной семилетней школе, мама получила место заведующей в детском саду, сестра пошла продолжать учебу, мы с бабушкой, по обыкновению, остались домовничать.

Что примечательно, несмотря на мамину профессию, сам я в детсаду воспитывался лишь эпизодически и не подолгу. Конечно, главной причиной моей вольницы была бабушка, которая вдали от всяких колхозов работать нигде не могла, поэтому остаток жизни постоянно нянчила кого-нибудь из внуков, благо внуки появлялись на свет примерно через равные промежутки времени. Кроме того, разумеется, на бабушке была и основная тяжесть прочей домашней работы…

А какую все же странную жизнь прожила она, бабушка моя милая, самый светлый человек во всей моей жизни!

Тридцати шести лет от роду осталась она без мужа с двумя детьми на руках, неграмотная и запуганная всенародным режимом до почти полной немоты — в том смысле, что любое сказанное, а также и услышанное слово представлялось ей смертельно опасным, — она к тому же изъяснялась на диковинной смеси малороссийского и урало-сибирского наречий.

Оставшись без мужа, она, это совершенно точно, ни о каком другом мужчине никогда, ни мгновенья не помышляла. А когда ее, словно неодушевленный предмет, бесцеремонно оторвали от крестьянствования, она долгие годы совершенно безропотно несла ярлык иждивенки, была членом семьи, с мнением которого взрослые считались едва ли чаще, чем с моим…

О безвинно убиенном дедушке я не знаю почти ничего. Даже ни одной его фотокарточки не сохранилось — либо их вовсе не было, либо бабушка их от страха уничтожила, когда основания для такого страха были отнюдь не иллюзорны. Мать, вопреки «показаниям» бабушки, как-то проронила, что мой дед иной раз бывал крут. Но тут же, не заметив явного противоречия, добавила, что он ее без памяти любил за раннюю, не по годам, сообразительность, часто брал на колени и ни разу не наказывал. А дядя Леня — над ним всю жизнь добродушно посмеивались из-за этого — будучи младшим школьником, писал уже изъятому из жизни отцу: «Приезжай скорей домой, а то мне без тебя ничего не покуют!» Имелось в виду — «не покупают»…

Итак, в детсаду я воспитывался лишь эпизодически и не подолгу потому, что, во-первых, — бабушка; во-вторых, — хоть мизерная, но плата; в-третьих, — я всеми фибрами души

ненавидел почему-то казенный воспитательный дом, что никого, как я уже не раз замечал, не интересовало…

Так запал в память стандартный эпизод: играю я себе в полном одиночестве на куче песка в детсадовском дворе — я бы к этой куче и близко не подошел, но больше такого дефицитного стройматериала во всей округе не сыскать, — увлеченно играю, но вдруг оказываюсь схваченным сильными руками и быстро-быстро перемещаюсь внутрь пахнущего чужими детьми здания. И вот уже меня полощут в просторной лохани, вот вытирают казенным полотенцем, надевают на меня, не смеющего пикнуть и лишний раз шелохнуться, ибо всякое шевеление в момент обострения педагогического чувства запросто может быть приравнено к попытке бунта, надевают на меня казенные штанишки и рубашонку, кормят чем-то хотя и вкусным, однако не родным, не домашним и укладывают в чистую, хрустящую постель.

— Закрывай глаза, и чтоб — ни одного шевеления, — слышу я свистящий мамин шепот и даже слово «ладно» произнести в ответ не смею.

Все. Я опять детсадовец. Опять — неволя. И хотя права беззвучно всплакнуть, накрывшись с головой и глотая соленую влагу, я тоже не имею, однако удержаться не могу, плачу, рискуя быть пойманным с поличным и отправленным в угол, чтобы другим детям, таким противным и довольным жизнью, было над кем посмеяться…

Разумеется, прежде, чем все это случилось, я неважно смотрелся из окон детского учреждения. Возможно, я смотрелся даже немым укором, мол, как ты, мамочка, можешь воспитывать чужих мальчиков и девочек, если твое родное дитя, будто беспризорник, скитается день-деньской по улице, где не только чесотку, вшей и дизентерию можно запросто подцепить, но и попасть под какое угодно дурное влияние.

Однако, на мой взгляд, дело обстояло уж если не вполне замечательно, так, по крайней мере, хорошо и даже где-то достойно. Да, мои рубашка и штаны с помочами не блистали чистотой, но окурков в штанине не было ни одного; да, я ничего не кушал с утра, но ведь при желании я мог в любой момент примчаться домой и завопить с порога: «Ба-а-а, я ись хочу!», и быть бы мне немедленно, притом с причитаниями, способствующими пищеварению, накормленным до отвала; после чего я мог бы крикнуть и вообще немыслимое: «Ба-а-а, я весь грязный, как поросенок, переодень меня скорей и умой, а то от людей, понимаешь, неудобно!»

Правда, при этом мне, пожалуй, быть бы не только умытым и

переодетым в чистое, на котором каждая заплатка родная, но быть бы мне еще и усаженным на горшок. Потому что от последних моих слов, в силу их необычности, бабушка бы наверняка сильно встревожилась. А самое главное, быть бы мне и дальше свободной, суверенной личностью, потому что бабушке никогда не удавалось загнать меня посреди бела дня в постель…

Таким образом, на некоторое время я становился детсадовцем. Причем в сравнении с прочими детсадовцами, не имеющим решительно никаких привилегий, что дополнительно угнетало человека, в силу малого возраста не способного уразуметь этот, может, самый главный принцип педагогики.

Впрочем, чуть не забыл, — одна привилегия все же была. Домой, по окончании дня, я убывал самостоятельно. Что, разумеется, грело, однако вольной воли не заменяло.

А бабушка, как я теперь догадываюсь, после моей такой поимки и очередного заточения в детсад получала очередной строгий выговор. Ее счастье, что она была маминой мамой, а не папиной. Это очень большое ее счастье… А стало быть, пожалуй, и мое…

Однако проходило некоторое время, и постепенно все возвращалось на круги своя. Я все чаще начинал, разумеется с разрешения мамы, прогуливать мою «работку» под разными предлогами, а потом и без всяких предлогов, а потом и вообще прекращал посещения детсада, и родители по утрам уходили на работу без меня — мама, как правило, на две смены, — так что мы с бабушкой целыми днями были безмятежно счастливы и бесконечно довольны друг другом — ходили на улицу, если позволяла погода, в лес ходили, а если погода не позволяла, то замечательно проводили время и дома. Она вязала носки-варежки или что-нибудь починяла — серьезное рукоделье было маминым занятием, — а я играл сам с собой, и для моих игр мне не было нужно совсем ничего.

Сколько мне доводилось видеть в жизни разнообразных детей — не счесть, однако никто из них не владел той технологией игры, которая была для меня излюбленной. Я действительно не нуждался ни в игрушках, ни в товарищах — игрушки и товарищи были бы только помехой, мне требовались всего лишь одиночество и тишина — немыслимые вообще-то условия при коллективном воспитании. А бабушка, может, лучше всех на свете умела быть незаметной, более того, ей, может, как никому, нравилось быть незаметной.

В общем, мне не составляло никакого труда поместить себя в какую угодно героическую ситуацию — сперва это были исключительно военные баталии, потом их стали вытеснять

космические мотивы, а потом и презренный быт пошел в дело. Впрочем, я тогда еще не был склонен соблюдать какие бы то ни было законы жанра, с непринужденной легкостью перескакивал с пятое на десятое, перемешивал, казалось, абсолютно несовместимое, но некому было приструнить меня разгромной рецензией, ни от какого редактора не зависела жизнь моих причудливых сюжетов, ибо ни о каких тиражах я не помышлял, более того, под угрозой выхода в свет моментально растаяли бы все мои уже отыгранные, а также и несостоявшиеся сюжеты.

А со стороны оно выглядело так: я лежал на полу, ко всему на свете безучастный, а потом вдруг начинал кататься по полу, ползать, нещадно буровя половики, издавать самые разнообразные звуки, означающие что угодно — рев моторов, взрывы бомб, свист пуль, грохот прибоя, голоса инопланетян, извинения матери за очередную обиду…

Но иногда я вел и весьма пространные, вполне разборчивые и даже не лишенные некоторого смысла диалоги с моими воображаемыми подчиненными, с товарищами Лениным-Сталиным, причем, когда мы уже обосновались в Карпунино, и Сталин начал стремительно тускнеть в глазах существенной части народонаселения, а стало быть, и в глазах моей матери, я уже был не столь почтителен с ним, иной раз позволял себе назидательно-разоблачительные нотки, на что моя терпеливая и терпимая бабушка считала необходим реагировать испуганным шепотом и округленными глазами, то есть позволяла себе вторгаться в мой мир, стало быть, в такие моменты ей было по-настоящему тревожно.

Но я отмахивался от бабушки, бесцеремонно выталкивал ее за пределы суверенной территории моего воображения и продолжал свое, но если бабушка не прекращала выражать беспокойство, то я довольно легко смирял гордыню, ибо никогда, даже в самом раннем детстве, не хотел быть свиньей неблагодарной, и оставлял в покое политику, действительно, ну ее на фиг, мгновенно оказываясь за миллион световых лет от всякой политики, чтобы вести плодотворные переговоры с дружественными и жутко продвинутыми во всех научных областях инопланетянами — то есть опять выходила политика, будь она неладна, хотя и вселенского масштаба, хотя и с полным взаимопониманием по всему спектру проблем…

Как жалко, что, пока бабушка была жива, я ни разу не удосужился поговорить с ней на отвлеченные темы. Ведь любопытно было бы узнать, что думала она про меня в те моменты, каким виделось ей мое будущее, совпало ли что-нибудь или совсем ничего не совпало?..

Но точно помню, если я и мечтал кем-то стать, когда вырасту, то уж точно — не писателем. То есть ранней, а также и немного припозднившейся целеустремленностью похвастать никак не могу.

Нет, разумеется, мне, как и большинству моих сверстников, временами не давали покоя романтика неба, пыль дальних и паршивых дорог милого отечества, однако не помню, чтобы мне сколь-нибудь продолжительное время хотелось во что бы то ни стало сделать автомобиль или самолет главной утехой всей последующей жизни, чтобы эта мечта захватила меня целиком, заставила выискивать и читать специальную литературу, особенно усердно изучать в школе вполне конкретные предметы, небрежно отмахиваясь от прочих предметов — второстепенных и третьестепенных, а тем самым, невыносимо скучных.

А может, вся проблема в том, что о профессии писателя я сперва вообще не знал, а потом, когда узнал, она долго-долго казалась мне еще более недосягаемой, чем профессия космонавта, и я решился потрогать ее на ощупь, уже безнадежно опоздав к тому окошечку, где приходящим своевременно выдают совершенно необходимый для творческой жизни культурно-интеллектуальный багаж?

Покупались ли мне игрушки? Скорее всего, покупались. Только ни одна не запомнилась, ни с одной из них, это уж точно, я не ложился спать. А вообще-то мне с игрушками, можно сказать, крупно везло. Я, повторяю, в них не нуждался, однако и не отвергал в принципе. Поэтому мама, периодически выезжавшая в командировки с целью закупа для своего учреждения различного инвентаря, в том числе игрушек, перво-наперво везла все домой. Впрочем, не поэтому, а потому, что поезд приходил на станцию ночью.

А уж с утра инвентарь перемещался по принадлежности, но некоторые игрушки порой застревали у нас надолго. Пока я ими вволю не натешусь. Ведь фантазии фантазиями, а заводную игрушку покурочить, из ружья духового пострелять резиновыми грибками, юлой пожужжать — все равно иногда охота.

Так что периодически я делался богаче даже самых избалованных детей, чьи родители служили начальниками СМП, руководили до сих пор загадочной «дистанцией», а то и чуть менее загадочными «отделениями».

И вообще, формально освобожденный и даже как бы отставленный от детского сада, я, так получалось, никогда не порывал с ним контактов совсем. Гуляешь в окрестностях, а поселок маленький, сплошные окрестности, мама увидит — покормит. А еще с работы принесет чего-нибудь — все же с

работы чего-нибудь несли, а ничего не несли только недотепы вроде отца моего, поскольку работу имели самую бессмысленную — с которой принести даже нечего.

Между прочим, так называемое «снабжение» на железной дороге в те годы было не в пример лучше, чем в стекольной промышленности. Но, может, дело не в том, какая и где царствовала отрасль, а в том, что на станции Карпунино обитали «свободные» люди (без кавычек никак не могу обойтись), а в поселке Заводопетровском — подневольные, причем без всяких кавычек, да еще — «нерусь». Да еще — калмыки, враждебные уже тем, что вопреки всему окружению исповедовали какой-то вообще непотребный буддизм…

В Заводопетровском очень напряженно было с хлебом — уж не говорю про другое. Даже мне, несмотря на очень юный возраст, не раз и не два довелось постоять в этих изнурительных очередях, но больше-то, конечно, страдали сестра и бабушка. Никаких карточек уже давно не было в помине, но еще немало оставалось в державе населенных пунктов, никакого стратегического значения не имеющих и тем самым относящихся ко второстепенным, третьестепенным, ну, не знаю, может, десятистепенным. То же самое, следовательно, можно сказать и о людях, населявших царствие «Равенства и Братства».

А в станционном буфете продавалась на развес красная икра — черная, правда, отпускалась лишь в виде бутербродов. Хлеба, как белого, так и черного, было вообще завались. И все по доступной цене, все очень качественное. И как бы вызывающе ни звучало это сегодня, однако со всей ответственностью должен сказать — был, был ничуть не легковесней доллара советский рубль образца 1961 года! На него тогда можно было столько настоящей еды накупить, натуральной еды, не осквернённой презренными добавками американской сои и русского гуталина!

Но, как на духу, — обиды обидами, однако голод мне неведом. И сестра тоже не захватила. Родители и бабушка — те, конечно, хлебнули сполна. Отголоском чего, в частности, было препротивное прозвище, которым отец иной раз в благодушном настроении меня почти любовно именовал — «хлебоясть». В словарях, между прочим, я его не нашел, как не нашел и упоминавшийся несколько раньше «урыльник». Вот до чего богат доставшийся мне от жизни и предков язык!

Отец обзывал меня «хлебоястью» тогда, когда я хлеба-то как раз и не хотел, но хотел колбасы. А бабушка с мамой чаще всего отца урезонивали, считая, что попрекать человека куском, когда нет войны, нет всемирной засухи, никого не раскулачивают и не высылают, — последнее дело, и отец вынужден был молча

уступать, поскольку сам-то, как добытчик и кормилец, никакими достижениями похвастать не мог и даже не рассчитывал, что сможет когда-нибудь.

Не обделяли нас с сестрой и прочими материальными радостями. Одежда на нас всегда была весьма приличная — даже иной раз модная. Мне, к примеру, одному из первых в нашей школе поселковая швейная мастерская пошила брюки-клеш.

Сама же мама вечно ходила в ситчике — иногда покупала готовое платье по совершенно смешной, как сказали бы нынче, цене, — но чаще гоношила что-нибудь простенькое собственноручно, не только в совершенстве освоив кройку-шитье, но даже научившись ремонтировать и регулировать свой древний швейный агрегат, что, если кто не сталкивался, отнюдь не просто, несмотря на кажущуюся примитивность устройства.

Кроме того, мать, прослыв изрядной портнихой, то и дело брала заказы — сперва только на пошив да на перелицовку, а потом все больше на изготовление весьма причудливых вышивок «гладью» да «ришелье», но не столько потому, что данная работа приносила больше гонорару, сколько потому, что она была искусством, художеством, творчеством.

О, как я хорошо помню эти выкройки из газетной бумаги и обоев, эти рисунки на кальке и копирке, эти пяльцы и нитки «мулине» — все это никогда в беспорядке, разумеется, не валялось, но всего этого было так много, что просто-напросто не могло оно не мешать всем и постоянно, не могло не путаться и не деваться неведомо куда, хотя только что тут было.

А еще я помню мамины слезы и проклятия в адрес любимой швейной машинки, в адрес ненавистной творческой работы, в адрес самой жизни сволочной, когда мать, в общем-то не особо чувствительный и совсем не плаксивый человек, увлекшись работой, прошивала себе иглой палец, что случалось часто, иногда и не по разу на дню, потому что вышивка требует виртуозного владения швейной машиной и не позволяет держать пальцы на гарантированно безопасном расстоянии от острого, мелькающего инструмента.

Так что, куда б ни заносила нас судьба, непременно в скором времени окрестные не особо притязательные женщины начинали носить повседневно и «на выход» ситчиковые платья от моей маман, ее задергушки начинали повсеместно белеть на окнах ближайших пятистенников и бараков, ее расшитые петухами полотенца не вешались на гвоздь возле рукомойника, а приберегались для наиболее почетных гостей или для того, например, чтобы достойно поднести хлеб-соль новобрачным, смущенно и по-царски входящим в насквозь провонявшую

выгребным комфортом коммуналку…

А еще мама работала скатерки, накомодники, ночные рубахи, призванные сразить наповал любого без исключения мужчину неслыханным и невиданным количеством красоты, покрывала, накидушки, салфетки да салфетищи самого разного назначения и размера.

А потом, когда мы уже в Арамили жили, мать вдруг разом охладела к своей вечной машинке, хотя, конечно, совсем ее забросить не удалось, — увлеклась до самозабвения вязаньем — благо, тогда с местной суконной фабрики массово и масштабно воровали и непряденную шерсть, и полуфабрикат под названием «ровница» (непряденая нить), и готовую пряжу. Воровали и почти свободно продавали, моментально позабыв не так уж давно отмененные кровожадные указы, благодаря чему у рукодельниц вроде моей матери не было недостатка в исходных материалах. Хватало и заказов — кто воровал сырье, тот в основном и заказывал, расплачиваясь опять же сырьем.

Первая зима на новом месте, на станции Карпунино, показалась бесконечной.

«Ничего удивительного — север», — объяснял данное явление отец, важно поджимая губы, словно лично обеспечил эту малоприятную географическую особенность.

А между тем мы вряд ли, выражаясь тоже географически, переместились вверх по карте даже на градус. Вообще, все наши перемещения уместились бы в кружочке с таким радиусом, что на карте Родины, которую в школе на стенку вешают, этот кружочек запросто закрылся бы одним моим пальцем.

В первую зиму приходилось мне целыми днями дома торчать: друзей-приятелей — никого, про телевизор я тогда еще слыхом не слыхивал, книжки читать еще никто не удосужился научить, а кроме того, зима выдалась на редкость снежная и морозная.

В общем, только бабушка да не знающее преград и правил воображение выручали. Зато когда пришла неизбежная даже в Карпунино весна, дел стало невпроворот. Как общесемейных, так и личных. Впрочем, в том возрасте я семейные и личные дела еще только начинал отделять друг от друга и меня еще можно было запросто увлечь такими делами, от которых, спустя какое-то время, я начал уклоняться со всею страстью увлекающейся, умирающей от любой монотонности натуры, призывая на помощь всю свою фантазию, но нередко низводя ее до уровня самого примитивного вранья.

Весной, не обращая никакого внимания на недвусмысленные взгляды и реплики соседей, мы затеяли городить огород. Здесь, на болоте, никто до нас сельским хозяйством заниматься даже не

пытался. Мы невозмутимо огородили сотки две-три, а могли бы два-три гектара огородить — никто бы слова против не сказал, — а вот со вспашкой возникли проблемы. Поднять целину лопатой оказалось делом совершенно невозможным, и ничего, напоминающего плуг, а также лошадь и трактор, во всех окрестностях разыскать не удалось, транспорт действовал только железнодорожный, а за пределами стальной колеи имелся один-единственный грузовик, да и то ему некуда было ездить.

И мы сажали картошку, как самые первые на этой планете земледельцы, — лопатой слегка поднимался лоскут сплошного одеяла из мха, под него бросали кусочек картофелины с ростком, и лоскут опускался на место.

Разумеется, тяпке потом дела тоже не нашлось. Но осенью нас ждал очевидный триумф. Так же как и весной, приподнимался лоскут, а под ним лежали картошечки — да такие красивые, чистенькие и ровненькие, словно яички в гнезде.

Я был в полном восторге, я был потрясен смелостью и новаторством мамы и бабушки, сестра, похоже, испытывала сходные чувства, отец делал вид обычный — будто ничего невероятного, удивительного и неведомого для него не существует не только на Земле, но и во всей Вселенной. А мама и бабушка только тихонько посмеивались — им уже однажды пришлось проделывать подобное, и на лавры первоземледельцев они совсем даже не претендовали. Причем они проделывали подобное в условиях куда менее комфортных, а точнее, экстремальных, на грани выживания, — это когда их из челябинского черноземья накануне зимы закинули чуть ли не в тундру, и пришлось зиму в землянке коротать, а потом по весне закапывать последние жизненные запасы в совершенно гиблую, казалось, почву. И скептиков тоже хватало, в их числе и бабушка была, молодая тогда еще женщина, беременная моим будущим дядей.

Но мать-землица выручила «кулацкое отродье» даже там, на краю земли. И к следующей осени срубили мужики избы, и погребов нарыли, и животиной, кто какой, обзавелись. Власти, как обычно, осталось лишь назревший оргвопрос решить — образовать колхоз, назначить начальство и налоги. Чуть позже — и врагов недовыявленных назначить…

Конечно, соседи наши, поглядев на неоспоримый сельскохозяйственный успех, немедленно поделили остатки болота, которое прежде было при доме чем-то вроде палисадника, все лето одуряюще благоухавшего буйным багульником.

А еще в первую же весну выяснилось, что в нашем «урмане», а бабушка все леса в округе только так и звала, кроме елок —

полным-полно других интересных вещей. Так что среди них я проводил гораздо больше времени, нежели на куче песка возле маминого детсада. И маму это ничуть не тревожило…

А лес казался или даже был воистину безбрежным. На его целостность не покушались никакие сельхозугодья, он был плохо проходим, потому что погибшие деревья валялись там как попало, а протоптать тропинки никто тогда, наверное, еще не успел.

Однако не было случая, чтобы я хоть раз в лесу заблудился. Впрочем, я, видимо, никогда излишне не углублялся. И в лесу мне всегда попадался озабоченный чем-нибудь народ, потому что у нас в лесу много разных сезонных промыслов процветало, как свойственных любому лесному народу, так и уникальных, каких не увидишь больше нигде. Правда, не буду врать, из уникальных я приметил лишь один, который и меня одно время не оставил равнодушным…

Так ли уж дороги были дрова в то время и в той местности? Однако собирание в лесу дармового топлива носило массовый характер. А собирательство — это ж самое мое — начиная с окурков, продолжая спичечными этикетками, заканчивая словами и знаками препинания…

В общем, каждый уходивший в лес возвращался оттуда с мертвым деревом под мышкой или на плече. Сообразно личным физическим возможностям. А можно было подходящее мертвое дерево подобрать и в любом другом месте, ибо следы недавно сведенного леса были повсюду, в том числе и в самом центре станционного поселка, они легко угадывались по бесчисленным пенькам, а также по лежащим во мху и медленно гниющим лесинам.

Лично я, проявив изобретательность, а изобретать в силу малого жизненного опыта приходилось почти все, вообще одно время из дома не выходил без куска мягкого обрезиненного провода с петелькой на конце. И порой приволакивал груз, явно превосходящий меня весом. Из-за чего, правда на непродолжительное время, прослыл среди соседей по двору самым трудолюбивым в мире ребенком.

Притащенное из заболоченного леса топливо, разумеется, сразу в дело не годилось. Оно разделывалось на мелкие фрагменты — это были порой очень причудливые загогулины из мореной красноватой древесины, имевшие к тому же специфический, ни на что не похожий запах, — и укладывалось в поленницы.

Дрова сохли все лето и по общему мнению горели куда жарче обычных покупных. Впрочем, возможно, так оно и было, потому

что не всякая древесина выдерживает длительное испытание болотом, а которая выдерживает — это мы знаем из школьных учебников — становится антрацитом…

Между тем было лишь начало благодатного сезона. И вскоре на солнечных вырубах (повторю, вся местность, в том числе и занятая людьми, была одним гигантским вырубом), закраснели первые землянички. И самую первую я принес бабушке. Не забыл. И кажется, этим не на шутку взволновал не столько бабушку, сколько мать. Может, ей тогда впервые пришло в голову, что детская память, возможно, куда более надежное хранилище информации, чем принято думать…

Помнится, я ходил по ягоды со стопкой. Наверное, все же совсем недалеко ходил, и ягод там было мало, и мне не лень было лишний раз возвращаться домой. К тому же сразу пришло убеждение — возвращаться с неполной посудой — себя не уважать.

А взрослые сборщики ходили по ягоды куда-то немыслимо далеко, иногда даже с ночевой, и рассказывали нам фантастические вещи про щедрость природы. Впрочем, не просто рассказывали, но и доказывали делом, что не врут, — целыми ведрами тащили они из дальних мест бруснику, чернику, смородину, малину, черемуху, а также эти… В общем, возможно, это была голубика, но у нас все говорили «бараньи муди».

А вот земляники в дальних местах совсем не было, потому что не было там вырубов, и моя баночка варенья получалась в своем роде единственной и зимой извлекалась в самом торжественном случае.

Впрочем, не помню, чтобы в те времена у нас случались большие запасы варенья. Денег на сахар не хватало, что ли? Или еще была живой совсем иная народная традиция запасания впрок, и ягоды чаще сушили.

А сушили их на крыше сарайки, и занимались этим все соседи без исключения, поэтому границы владений на крыше соблюдались не менее строго, чем внизу. И все равно, то и дело возникали поводы для тяжких подозрений, шумных скандалов, изредка даже для очень зрелищных бабьих драк…

Лучше всего мне запомнилась сушеная черемуха, в наши дни ягода почти что бросовая — даже имея черемуховое дерево в огороде или в саду, далеко не каждый хозяин собирает его плоды, экономя силы и время для более стоящих дел. И может быть, уже мало кто знает, что случай с черемухой совсем особый: свежая ягода так себе — пососать да выплюнуть, зато сушеная идет в дело целиком, вместе с косточкой. А пирожки с молотой черемухой — вообще улет. Правда, я их так давно не пробовал,

что, возможно, сейчас бы, откусив разок, поморщился. Ведь в те времена хоть и не знал я голода, но мне казалось необычайно лакомым многое такое, что теперь лишь вызывает ностальгическую грусть и с шоколадными конфетами, со всякими «Рафаэлло» не выдерживает никакого сравнения.

Так что лучше и не пробовать теперь паренки из моркови да свеклы, бобы и овсяный кисель, шаньги с черемухой и осыпанные сахарным песком калачики из муки второго сорта. Лучше не пробовать, а только вспоминать да вспоминать — слаще выйдет…

А вот грибов в тех местах я абсолютно не помню. Не могло же их там совсем не быть….

Но наиболее сильное впечатление произвел на меня в «урмане» кедр. О кедре я потом, когда мы покинули Карпунино, больше всего тосковал. Конечно, елку я любил, пихту, мягкую сестричку ее, не забывал слегка приласкать при встречах, можжевельник, иначе говоря вереск, тоже имел свои запоминающиеся особенности — странные смолистые ягоды и невероятно тугое тело, из которого, до сих пор так думаю, получаются самые непревзойденные, самые боевые из боевых луков, совершенно необходимые таежнику, если ему по каким-либо причинам не доверено пока ружье…

А зато на кедре росли кедровые шишки! А в шишках находились давно знакомые орешки, которые мама прежде покупала понемногу в магазине и мы их дружно грызли вечерами, причем бабушка и мать их по-особенному грызли — не вдоль, но поперек, чего я так никогда и не научился делать.

А тут орехи стали бесплатными, и я их сам мог добывать. И они были так неожиданно упакованы…

Между тем, когда мама узнала, что ее сын-дошкольник, возомнив себя добытчиком-таежником, бестрепетно лазает по гигантским деревьям, строго-настрого это дело мне запретила. Однако против безопасного и любимого мною собирательства возражать не стала.

Мы, как и дети более благодатных краев, совершенно не способные терпеливо дожидаться созревания фруктов в садах, тоже не могли спокойно ждать созревания шишек, тоже добывали их зелеными, пекли в костре, варили в котелке и, видимо, получали некий приемлемый результат, а вот какой — запамятовал…

Там, в Карпунино, я наконец-то стал первоклассником железнодорожной школы; еще на кедрах оставалось немало замечательных шишек, а меня уж подстригли — короче некуда, — обрядили в совершенно невыносимую школьную форму, сработанную из наждачной диагонали, но был и у этой формы по

меньшей мере один радующий душу предмет — фуражка с кокардой и ремешком, который можно было затягивать под подбородком, что придавало человеку на редкость уверенный и мужественный вид. Обрядив, дав в руку портфель — ранцев тогда что-то не шили, зато в ходу были помимо портфелей партикулярных так называемые «полевые сумки» из кирзы, отвели меня куда следует и поставили в строй, который я тогда же и возненавидел на всю, как оказалось, жизнь. Не из-за того, что был с рождения отпетым пацифистом, а из-за того, что почти до завершения школы мое место было, увы, в самой непосредственной близости от конца левого фланга.

И я мгновенно понял, что школа — это покруче детсада. От нее не отвертеться, как ни канючь. А чуть позже понял, что дрыхнуть днем совсем не больно, даже приятно иной раз, особенно под аккомпанемент скучнейшего монолога…

Как ни странно, а для педагогической семьи вдвойне странно, однако в первый класс я пришел с мозгами, абсолютно не осквернеными никаким абстрактным знанием. Считать, кажется, маленько мог, знал наизусть кой-какие стишки, причем не детсадовские, а те, что в моем присутствии иногда зубрила сестра — уже очень опытная школьница, а вот о буквах ни малейшего понятия не имел, соответственно чтение можно вовсе не упоминать.

Кроме того, я, никогда не увлекавшийся графикой — одно только и освоил: «Палка, палка, огуречик — вот и вышел человечек», с чем и по сей день живу, — ни карандаш, ни ручку правильно держать не умел. А заодно и вилку, что, впрочем, выходило и, кажется, по сей день выходит за рамки школьного курса…

Однако вопреки первому ощущению учиться мне понравилось. Наверное, потому, что сразу стало получаться. И учительница попалась «добрая», что для первой учительницы крайне важно, ибо она, как первая брачная ночь, задает тон всей дальнейшей жизни человека…

Братцы, а кто-нибудь помнит вот эту эпическую поэму советской школы-семилетки: «Первый класс купил колбас, второй резал, третий ел, четвертый в щелочку глядел, пятый на ниточке висел, шестой из форточки летел… А седьмой сел в поганый таз и уехал на Кавказ…»?

И наконец-то у меня появился друг, а прежде только приятели да товарищи по играм были. Конечно, разницу между приятелем и другом я в полной мере ощутить тогда не мог, но уже тогда о ней, наверное, догадывался и словом «друг» не склонен был разбрасываться, как некоторые.

Но самое главное, семи лет от роду я впервые познал женщину. Пусть, как говорится, и не в полном объеме, но для полноты, я считаю, не хватило сущей формальности.

Это была соседская девочка годом моложе меня, в детсад ее не водили, в силу чего в какой-то период мы много времени проводили вместе — то у нас занимались каким-нибудь детскими делами, то у них. Чаще у них, потому что мама девочки служила на железной дороге стрелочницей и немалую часть жизни проводила в желтой будочке при дороге, перетаскивая увесистую железяку туда-сюда, а в будочке всегда было жарко натоплено, воняло горелым углем, стояла железная койка с казенным одеялом да обшарпанная тумбочка, в которой неизменно оказывалось какое-нибудь нехитрое угощение для дочки, а также и для того, кого дочка приводила с собой для компании, когда навещала мать на рабочем месте.

Однако мы вряд ли оставались часто с моей соседкой совершенно одни. Потому что в тот раз, когда все у нас случилось, было, я отчетливо запомнил, какое-то лихорадочное нетерпение — скорей, пока представилась счастливая возможность, заняться каким-нибудь взрослым, то есть запретным делом.

И я предложил самое, как мне казалось, романтичное: «Давай курить!» На что девчонка, презрительно скривив губки, ответила встречным предложением: «Да ну, давай лучше е…ся!» И так буднично, так обыденно произнесла она эту фразу, что, кажется, до сих пор звучит в ушах, до сих пор сообщает душе некую неловкость.

А тогда нет, тогда никакой неловкости я не чувствовал, но если все-таки чувствовал, то лишь в связи с тем, что такой большой мужик, а не знаю, о чем идет речь. Нет, слово-то сакраментальное я, конечно, слыхал и прежде — не на облаке ведь жил, — знал, что оно нехорошее, но смысл его был, вне всякого сомнения, неведом совершенно.

И в ответ на столь заманчивое предложение я спросил мою даму: «А это как?» Будто дамское это дело, объяснять такие вещи. Будто не наоборот должно происходить у приличных людей, если уж они не могут обойтись безо всяких объяснений.

Но девочка, начисто лишенная предрассудков, не сочла за труд ввести меня в курс дела, растолковала кой-какие детали и особенности процесса.

И мы по ее команде сперва начали целоваться — эта сикуха знала даже о необходимости такой вот прелюдии, — отчетливо помню, что моя грамотная партнерша закрывала глаза, как большая, а я, как маленький, не закрывал — подглядывал. И мне

казалось ужасно забавным то обстоятельство, что у нее дырочки в носу продолговатые, потому что сам нос — «уточкой», а у меня — круглые, потому что нос, как уже говорилось, «картошкой».

А потом мы разделись и легли в постель. Но, увы, я, как мужчина, оказался не на высоте. Что в тот момент меня ничуть не огорчило. Ее, пожалуй, тоже. Однако в тот день мы взаимно и начисто утратили друг к дружке интерес. У меня, по крайней мере, больше нет про нее никаких воспоминаний. Наверное, мы все-таки несколько поторопились. Наверное, нам стоило годик-другой повременить с этим делом…

Но если серьезно, то, вспоминая сегодня то страшно далекое время, сравнивая его с днем нынешним, я нет-нет да и прикусываю язык, когда мне в очередной раз хочется поразглагольствовать о падении нравов. Может, думаю я, состояние падения — есть естественное состояние нравов, но объективно меняется лишь количество вранья и притворства?..

Ведь если в те времена, когда старших школьниц учили: «Не давай поцелуя без любви!», и они давали, существовали дошкольницы, знавшие не только как что называется, но и как что делается, причем в условиях полного отсутствия каких бы то ни было «учебных видеоматериалов», то это позволяет сделать вывод — никакого пуританства никогда не было на Руси. Все это прекраснодушная выдумка милых, хотя подчас довольно агрессивных, русофилов.

Даже в пресловутом «галантном веке» чопорные аристократы, звавшие друг друга к барьеру из-за сущей ерунды, бестрепетно брюхатили пачками своих дворовых девок, а те отдавались им далеко не всегда из-за одной лишь боязни прогневить любезного барина.

Впрочем, и прекрасные дамы, стыдливо прятавшие сосцы в глубоких своих декольте, дамы, в борьбе за честь которых лишали друг дружку жизни страстные рыцари, тоже не так уж часто бывали образцом целомудрия и чистоты.

Хотя надо все же признать — в предшествующие времена интимные утехи человеков были существенно таинственней, чем нынче. Так может, лишь в таинственности все дело?..

Что любопытно, в следующий раз я попал в подобную ситуацию ровно через десять лет. И опять не по своей инициативе. И опять вышел конфуз. Либо излишне переволновался, либо переход от чисто платонического этапа к следующему получился для меня слишком неожиданным. И опять моей соблазнительницей была соседка, и опять — годом моложе меня.

В общем, хоть плачь, хоть смейся — сплошные совпадение.

Но есть и одно отличие — со временем у нас все получилось, и мы потом любили друг друга ровно тридцать лет и три года, такой срок многим даже представить-то затруднительно, да и по сей день любим — более или менее успешно закрывая глаза на все то ужасное, что сотворила с нами жизнь…

Живя в станционном поселке в отдельной квартире, родители, похоже, больше не помышляли куда бы то ни было перемещаться. А бабушка жила у дяди Лени, нянчилась с его дочкой, раз уж меня в школу отдали.

Надя к тому времени сделалась настоящей барышней, у нее уже появились первые сердечные дела, я имел множество приятелей и одного друга — Вовку Комарова. А что до моего интимного приключения, то о нем, как ни странно, так и не узнала ни одна живая душа, и оно как-то начисто вылетело из памяти, наверное, из-за слишком уж явной своей преждевременности.

Разумеется, своя компания появилась и у родителей. И они часто по праздникам и дням рождения где-нибудь гуляли, приглашали и к себе гостей.

Правда, живописные природные места в окрестностях Карпунино имели одну малоприятную особенность — мало где можно было посидеть на травке, не замочив задницы, поэтому массовых гуляний в тех местах, кажется, не практиковалось…

А как здорово мы встречали в Карпунино пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой годы!

Готовиться начинали где-то за неделю. В лес за пихтой — конечно же, за пихтой — отправлялись всей семьей, но не только для себя долго и тщательно выбирали ритуальное деревце, а начинали с огромной ели — для Красной площади. Ну, такая была у нас игра. И что-то очень подходящее обязательно находилось. Как для Красной площади, так и для дома…

Украшали елку тоже непременно сообща. Отец, правда, непосредственно в этом не участвовал, однако неизменно присутствовал, сидя на диване и давая советы, иной раз довольно дельные.

Елочных игрушек, разумеется, всякий раз много разбивалось, но всякий раз и новых покупалось много — что-что, но цены на елочные украшения, а также и на игрушки вообще были такие, какими уж больше никогда не будут.

А кроме того, мать каждый раз старалась придумывать какой-нибудь сюрприз. На украшенной елке утром что-нибудь непременно добавлялось. Приятное, разумеется. Особенно порадовали нас, помню, утаенные с осени кедровые шишки, которые были не просто повешены на елку ночью, тайком от

детей, но еще и соответствующим образом раскрашены, облеплены блескучими осколками бесполезно, как казалось, разбившихся игрушек.

Но вот мистический туман, связанный с личностью Деда Мороза, никогда матерью не нагнетался. Дома, во всяком случае. И не помню, потеряли мы с сестрой от этого что-нибудь или ничего не потеряли…

Вообще, в те годы, как мне кажется, мама была непревзойденной устроительницей любых празднеств. Наверняка ей это дело ужасно нравилось, иначе откуда бы такое вдохновение.

Надо заметить, что повседневная работа с детьми маме осточертела уже на заре педагогической карьеры. Ну, не ее это была стихия — любить чужих детей. Своих — еще куда ни шло…

Так что с внуками она не нянчилась. И у моих детей не было такой бабушки, какая была у меня. Но зато — позволяю я думать себе самонадеянно — у их детей есть такой дедушка, какая у меня была бабушка. Должно же воспроизводиться в этом мире добро. Хотя бы и через поколение…

Словом, мама предпочитала быть заведующей отнюдь не из карьерных побуждений. Предпочитала учить воспитывать. Но принципу: не имеешь таланта сочинять — иди в редакторы. Вот ведь какой универсальный принцип.

Но в преддверии праздников мать преображалась, все брала в свои руки как дома, так и на работе, сочиняла бесчисленные текстовки-речовки, а то и полнометражные сценарии, брала на себя роль ведущей мероприятия, а также исполнительницы всех главных ролей, в том числе Деда Мороза, декламируя нараспев и басом: «На льдине-холодине, на Севере я жил, о том, что нынче елка, чуть-чуть не позабыл…»

Необходимо признать, что это производило сильное впечатление на молодых и доверчивых воспитательниц, пожалуй, им потом легче было безропотно выслушивать теоретические сентенции своей начальницы, имеющей, оказывается, не только крутой нрав, но и доброе сердце…

А еще в тот период в нашей семье появилось нечто, напоминающее достаток. Так что однажды летом мы на полном серьезе замыслили предпринять путешествие к теплому морю, о котором даже отец-географ имел лишь чисто теоретическое представление. И мы отправились, благо имели право, как железнодорожные служащие, на ежегодный бесплатный проезд туда и обратно в пределах беспредельной Родины.

Кажется, мы поехали в Одессу. Видимо, хотели убить разом двух зайцев: город-герой повидать, а заодно субтропические

чудеса — вкупе с безбрежной и теплой соленой водой.

Однако доехать посчастливилось только до Москвы. А дальше провинциальную щушеру не пустили. Военные маневры, что ли, приспичило нашей Родине учинить в тех благословенных местах, куда нас так влекло.

Как ни странно, удалось устроиться в гостиницу. В «Золотой колос».

Не знаю, как родителям, но мне такая корректива маршрута показалась вполне приемлемой. Красивой природы и целебного воздуха в Карпунино было завались, а вот трамваи, троллейбусы, магазины, высотные дома, метро, покорившее мое сердце сразу и навсегда, ВДНХ — тогда еще даже ВСХВ — нет, этого и в таком количестве ни в какой Одессе, разумеется, быть не могло…

Запомнилось одно столичное приключение — мы с Надей гуляли по Сельскохозяйственной выставке, где в качестве сувениров каждому желающему позволяли брать коконы шелкопрядов, и потеряли друг друга.

Сестра кинулась меня искать, обратилась в милицию, милиция взывала насчет меня по громкоговорителю, а я самостоятельно вернулся в гостиницу, благо было недалеко, и преспокойно проинформировал родителей: «Надя потерялась».

Вот радости-то было и смеху, когда все наконец благополучно разрешилось. Однако либо в этот же день, либо, самое позднее, на следующий, мне захотелось устроить всем повторное ликование. Почему бы и нет, — рассуждал я, — ведь это меня ничуть не затруднит.

Во второй раз у меня на ВСХВ «потерялся» отец. И выдала мне мама по полной программе. Несмотря на посторонних людей. И я доподлинно убедился; да, Москва слезам не верит, все еще не верит она слезам…

Так что, вернувшись домой, где запах цветущего кедра и дух вездесущего креозота составляют непревзойденную смесь, являющуюся милым сердцу ароматом родины, я был уже другим человеком, знающим не только про «слезы и Москву», но уже начинающим догадываться, что, по большому счету, никому в этом мире нет до меня дела…

Когда я учился во втором классе, страна вдруг затеяла строить в своей тайге очередной новый город по имени Качканар. И как обычно, позвала осуществить свою затею в сжатые сроки — романтиков, уголовников да деревенщину, возмечтавшую не просто сменить деревню на город, но и перейти из класса в класс.

И так получилась, что ударная стройка, против которой я, разумеется, ничего не имел, разом лишила меня и любимой учительницы, и первого друга Вовки Комарова. Помнится, с

Вовкой мы еще пытались сгоряча переписываться, но эпистолярный жанр оказался нам не по зубам. Слов, пригодных для написания, знали, может, и немало, а вот вразумительно соединять их на бумаге еще не умели. Этому многие люди за всю жизнь не успевают научиться.

Поэтому, когда к следующему лету отец опять теоретически подготовил и обосновал наш очередной рывок к новой жизни, мне уже не так тоскливо было расставаться со старой. И тем не менее я долго потом мечтал вернуться при случае туда, где был когда-то и для кого-то своим человеком, пусть не навсегда вернуться, а лишь покрасоваться перед старыми знакомыми — каков я стал и чему научился в ином месте пространства-времени.

Не уверен, был ли очередной бросок очередным бегством от общественного мнения, помню только, что жизнь и на железнодорожной станции в ее морально-психологическом смысле не вплотную приближалась к идиллической. Мама хотя и все больше примирялась с судьбой, но ее внутренние резервы еще отнюдь не были исчерпаны, в связи с чем, наверное, папа однажды попытался предпринять суицид. Проще говоря, хотел удавиться. Для исполнения чего, прихватив веревку, среди ночи отправился в сарайку. Не думаю, что он имел абсолютно серьезные намерения — уж больно жизнелюбивым и лишенным всякого намека на меланхолию был мой отец, — но как знать, доверчивая бабушка, во всяком случае, причитая, ринулась следом, ибо ненавидеть кого бы то ни было физически не могла. И спасла зятя. Как минимум, от всеобщего презрения. Хотя от молвы, конечно же, спасти не смогла.

Так мы в самом конце лета очутились в Арамили, которую я, угробивший здесь сорок два года жизни и окончательно облюбовавший как место последнего успокоения, считаю малой родиной. А с какого-то времени все чаще — и большой.

В отличие от прежнего местожительства новое встретило нас более чем равнодушно. Тут никто не разбежался давать нам сразу отдельную квартиру в новом доме, для начала предложили пожить в традиционной российской избе, что было вообще-то нам не в новинку, да только изба попалась настолько изувеченная временем, что уже никак не могла обходиться без довольно внушительных костылей, на которых и висела безвольно всей массой, глядя безрадостно маленькими кривоватыми окошками.

Картина была настолько впечатляющей, что мама даже не зашла взглянуть на внутреннее убранство, а сразу кинулась искать в незнакомом населенном пункте хоть какое-нибудь пристанище и на любых условиях. И нашла. В буквальном смысле

— угол. И только на самое первое время.

И мы действительно просидели в этом углу месяца два, не больше. Благо, уходящее лето еще баловало прощальным теплом — как-никак это ж почти самый юг области, — и мы между делами, в свободное от поисков квартиры время даже успели на всю грядущую зиму груздей насолить…

Во народ — жить негде, а груздей насолили!

И дали-таки нам к зиме другую хижину — на сей раз, наоборот, новейшую. И даже слишком — потому что опять были неоштукатурены стены. Да помимо этого еще и проконопачены кое-как.

Куда подевались хозяева хижины — не знаю, может, сдав ее в аренду поссовету, завербовались на большие заработки, чтоб потом достойно завершить строительство, может, в тюрьму сели за хищение стройматериала, может, померли скоропостижно.

А зато нашлось место и нам, и соленым груздям, и пожиткам нашим жалким — власть, ставшая давно уж родной, не кинула на произвол приближающихся морозов семью ветерана второй мировой.

С первого сентября отец взялся за старое — начал преподавать свою бесконечную географию, мама тоже не придумала ничего лучшего — подалась воспитателем в детсад, пока где-нибудь как-нибудь не освободится более комфортное место заведующей, благо детских садиков было уже тогда в Арамили изрядно — сейчас-то и половины не осталось.

Однако рабочие места родителей были на непривычном удалении от нашего жилища. Маме-то все нипочем, она здоровая, а вот отцу несладко пришлось. И Надежде, сестре моей, соответственно. А вот для меня поблизости начальная школка нашлась. Правда, пришлось мне самому в нее и устраиваться. То есть, скорей всего, без родителей не обошлось, но я запомнил так: дали мне первого сентября портфель и сказали примерно то же самое, что сказал некогда хрестоматийный дед Каширин своему внуку.

И я, как тот великий внук, тоже «пошел в люди», отдался, так сказать, в ученье…

А изба-то новая такая холодная оказалась — ужас! Да еще у нас с дровами напряженка вышла — отцу, как учителю, всегда бесплатное топливо полагалось, а вдруг, когда уж холода начались, сказали — нет, у нас же поселок городского типа, а не сельского, сами покупайте.

И трата не бог весть какая, но известное дело, если надо срочно, то всегда что-нибудь не слава Богу…

К тем временам относится мой первый серьезный контакт с

алкоголем, тогда как предыдущие контакты были робкими касаниями. Мама так спешила меня обогреть после школы, что напоила брагой допьяна. Я даже песни пел, а под конец облевался весь…

К счастью, маяться нам в той хижине пришлось лишь до Нового года. И следовательно, учиться мне в маленькой школке досталось только две первые четверти, и ничем мне она не запомнилась, разве только тем, что была там одна такая противная девка, которая сидела в классе позади меня и то и дело, прямо среди урока, лупила меня по башке толстой «Родной речью», потому что я, видите ли, очень вертелся и мешал ей упорно овладевать знаниями, а учительница эту тварь молчаливо или даже вслух поощряла.

И состоялся еще один переезд — освободились две комнаты в коммуналке двухэтажного деревянного сооружения — внешне точно такого же, какое было у нас в Карпунино, но внутри распланированного совершенно иначе и оштукатуренного, и с действующим «урыльником».

Новое обиталище встретило и потрясло меня совершенно неведомым до сих пор запахом — я же отсутствовал тогда, когда моя семья держала дома новорожденных телков, — но еще с коммунальной кухни тянуло керосиновым духом.

Впрочем, не могу утверждать, что данный «букет» мне категорически не понравился, как не могу утверждать и обратного. Помню только — ощущение некоей особой новизны. Некоей радикальной перемены в жизни…

Лишь много позже я понял, в чем состояла суть ощущения. Мы переставали быть деревенскими обитателями, и нам предстояло стать, нет, не горожанами, конечно, но обитателями особого промежуточного да к тому же коммунального мира. Мы и раньше могли бы начать дрейф в ту сторону, однако автономное житье покуда предоставляло нам льготу хранить излюбленный уклад. А тут — хочешь, не хочешь…

Тем не менее мои мама и бабушка так керосинкой и не обзавелись. Очевидно, она им была совершенно ненавистна. К тому же без нее можно было замечательно обходиться, потому что очаг в кухне имелся, и розетка у каждого обитателя была своя, и электричество не так уж дорого стоило, чтобы экономить его со всей свирепостью, то и дело приводящей к скандалам и даже дракам из-за освещения коридора и отхожего места.

Отопление в доме было все еще печное — у каждой семьи своя печка. Но вскоре провели водяное центральное отопление, и стали мы жить как у Христа за пазухой. Тем более что соседи попались сравнительно спокойные. Первой по коридору жила

башкирка тетя Феня с детьми Зиной и Борей, дальше обитали Алешка и Аля с маленьким ребенком, а уж в крайних двух комнатах, стало быть, мы.

Алешка и Аля были молоды и неправдоподобно по нынешним временам доброжелательны, более того, они постоянно выражали полную готовность кому-нибудь в чем-нибудь услужить.

Да и тетя Феня, хотя все время материлась и забавно коверкала русские слова, тоже была душа-человек — наши с сестрой имена без уменьшительно-ласкательных суффиксов не произносила даже.

Зина называлась у нее Зиничкой, Маша, еще одна дочь, учившаяся в школе-интернате для детей с задержкой развития и потому редко у нас появлявшаяся, — Машичкой. Но Борю мать, кажется, не долюбливала. Возможно, за то, что он получился немного глуховат и потому застенчив, то есть считался в семье как бы маминой творческой неудачей, проще говоря, придурком. За что и звался Борькой, но иногда — Бурысом.

От кого тетя Феня родила своих детей — выговором и внешностью вполне русских, — этого вопроса в моей голове еще долго-долго не возникало, хотя и давным-давно знал вот это: «Одиножды один — шел гражданин, одиножды два — шла его жена, одиножды три — в комнату зашли…»

Таким образом, если в квартире иной раз все-таки случался некоторый шум, то для него могло быть лишь две причины: либо Алешка напился, а напившись, он делался еще приветливее и норовил перецеловать весь мир, отчего, собственно, и случалась повышенная шумность, либо Аля с тетей Феней опять маленько дерутся из-за мест общего пользования под солнцем.

Что любопытно, никто и никогда в их разборки не вмешивался, поэтому когда моя бабушка — неизменный друг обиженных и униженных всего мира — по незнанию местных обычаев попыталась встрянуть, Алешка ее деликатно, но молниеносно оттащил.

— Не лезь, баушка, бляха-муха, они через пять минут опять реветь да целоваться начнут, а ты сама перед собой будешь дурой последней, — объяснил сосед бабушке на ухо, употребив для большей убедительности свое любимое вводное слово — самое крепкое выражение, на которое только и способен был, и которое уже было его кличкой — «Алешка бляха-муха»…

Так оно и вышло…

А вскоре мы с изумлением обнаружили, что тоже теперь имеем прозвище. Одно на всех. Округа произвела нас в «учителя», хотя учительских семей поблизости проживало несколько, а в нашем доме на втором этаже обитала одинокая

преподавательница английского с дочкой — будущей пожизненной подругой моей сестры.

Ну, «учителя» так «учителя» — легко примирились мы с непреодолимым обстоятельством, все же кликуха могла быть гораздо хуже, в Арамили традиция давать клички и прозвища уходит корнями в ту далекую древность, когда на этой земле только-только появились первопоселенцы, среди коих преобладали беглые каторжники да расстриги-попы.

Скажете, эта традиция общероссийская? Возможно. Однако нам-то до сих пор приходилось жить в таких местах, где коренного населения почти что нет, а стало быть, и нет еще почвы для сколь-нибудь отчетливых традиций…

Итак, начиная со второго полугодия третьего класса я стал ходить в ту же самую школу, куда ходили отец и сестра, правда, потом, в пятом классе, меня родители еще раз переместили, чтобы я обучался полноценному английскому вместо неполноценного французского, за что я потом, в институте, не вспомнил родителей добрым словом — «французы» начинали с азов, а нам, «англичанам», сразу стали задавать эти изнурительные, хорошо известные любому студенту «тыщи». И тем не менее я имею теперь такие знания иностранного языка, которые годятся лишь для чтения дурацких вывесок да понимания отдельных слов в голливудской стряпне, которая в общем-то понятна в подавляющем большинстве случаев и без слов…

И как раз в то время стала постепенно, но необратимо слабеть моя сердечная связь с бабушкой, прежде полновесно заменявшей мне и друзей, и коллектив, и родителей. Родителей-то она и дальше продолжала мне заменять, а вот приятелей и где-то даже друзей за короткое время у меня появилось множество — никогда прежде столько не было.

Да и в квартире царило непривычное многолюдье — всегда кто-то в ней находился даже в рабочее время, всегда было с кем обсудить любую проблему, любой вопрос, волнующий пытливого ребенка.

Не работала Аля, потому что имела маленького ребенка, не работала тетя Феня, так как являлась инвалидом труда — откуда-то, работая на стройке, свалилась и повредилась головой, о чем имела специальную справку — самый верный аргумент в любом конфликте.

Хотя замечу: никаких припадков у тети Фени я ни разу не наблюдал, тогда как на головную боль она жаловалась постоянно и до сих пор жалуется, а ведь сейчас ей, пожалуй, около девяноста.

Еще почти всегда ошивалась дома Зиничка — вполне взрослая девушка лет семнадцати, учащаяся вечерней школы, время от времени не подолгу где-то работавшая, но более озабоченная веселым устройством личной жизни, на почве чего она дружила со своей сверстницей из соседнего дома Нинкой. Они вместе бегали в гарнизон к воинам Советской Армии, что вообще-то на поселке у нас считалось делом малопочтительным, вместе и забеременели. А дальше пошли существенные различия — Нинкин Васька остался в Арамили и женился честь по чести, а Зинкин ухажер не остался, обманул девушку, козел…

Но Борис, двадцатидвухлетний крепкий парень, работал. И был уже тогда изрядным плотником, печником. Он-то, собственно, и содержал семью, потому что материна пенсия была минимально возможной.

Боря научил меня играть в шахматы, а также изрядно просветил по части интимных отношений человеков. Историй на эту тему, причем с полной деталировкой, он знал несметно. Хотя вряд ли его собственный опыт был существенным. Возможно, собственного опыта вообще не имелась, поскольку женили Борьку лет через пять на какой-то страхолюдине и та потом помыкала им всю жизнь.

В школе я продолжал добиваться заметных успехов. Правда, периодически приносил записанные в дневник замечания, но на учете в милиции мне так никогда и не довелось состоять… Это теперь, я слышал, почти всех ставят — очковтиратели, — а тогда постановка на учет равнялась в глазах общественного мнения заключению в детскую колонию.

Записи в дневнике, но нынешним временам, были совсем нестоящими. «Вертелся на уроке», «Разговаривал во время урока», и никогда не было ничего, типа: «Грубил учителю», «Отсутствовал без уважительной причины». Однако и за это я карался по всей строгости.

Относительной же безопасностью периода адаптации на новом месте я наслаждался совсем не долго — папины коллеги моментально смекнули, что жаловаться на меня отцу хотя и во всех отношениях удобно, однако, как правило, совершенно бесполезно. Отец либо попросту мгновенно забывал дискредитирующую меня информацию, либо относился к ней без должного понимания и очень редко доводил информацию до мамы, то есть до принятия соответствующих мер.

Поняв это, учителя стали вызывать в школу мать. А у меня, как на зло, то одно, то другое. Четверку по поведению схлопотал потому, что в виду школы нагло играл в «чику». Мало того, что продулся вчистую, так еще и попался завучу. Не зря говорится —

«беда не ходит одна». Потом меня увлекла ловля птичек, в результате чего я значительно перебрал лимит по тройкам, прихватив еще и двоек, коих мне, по установленному мамой нормативу, вообще не причиталось.

Недешево мне обошлось голубеводство, а уж коллекционирование спичечных этикеток и подавно, потому что на территории нашего поселка можно было найти лишь две-три разновидности предметов коллекционирования, но если подходить к делу всерьез, то обойтись без поездок в кольцовский аэропорт абсолютно невозможно.

А увлечение филуменией у нас в школе было чем-то вроде эпидемической вспышки. Одни переболели быстро, другие сделались хрониками.

В перемены, невзирая ни на какие административные меры, во всех школьных закоулках шумело настоящее торжище. Разумеется, не обходилось без жульничества и банальных экспроприаций. И хотя некоторые учителя где-то слышали, что коллекционирование — дело благородное, а жульничество коллекционера невинно, как детская «неожиданность», однако явный бардак в учебном заведении в корне уничтожил всякие зачатки либерализма.

В Кольцово мы гоняли на великах, но, бывало, хаживали и пешком. И там пропадали по целому дню, встречая самолеты со всех концов необъятной Родины, а самолетов тогда летало много, и концов у Родины было больше. Хотя живого иностранца встретить тогда было невозможно, тем не менее одного, Фиделя Кастро, однажды очень быстро мимо нас провезли в открытом лимузине, нас предварительно увязав в кучу специальной красной веревкой.

Собственно, мы встречали даже не самолеты, хотя попасть на летное поле в те времена не составляло никакого труда, однако даже мне, недавнему таежнику, диковинные алюминиевые птицы сравнительно быстро примелькались.

Мы, прежде истосковавшихся в разлуке родственников и подчиненных, вылавливали из толпы благополучно долетевших особей исключительно мужского пола и быстро-быстро излагали суть дела.

А женщины нас не интересовали. Потому что очень редко пользовались спичками. Но даже если и шла навстречу такая, которая, наплевав на общественное мнение, нагло прилюдно курила, у меня не поворачивался язык столь же непринужденно остановить ее и выпалить в лицо отработанный текст, поменяв в нем одно только слово…

Да, каждый из нас имел собственную формулировку, но я, как

мне кажется, обращался к перспективному человеку наиболее вежливо, вразумительно, грамотно и достойно: «Дяденька, покажите спичечный коробок!» Разумеется, «волшебное слово» мне было уже известно.

А все равно, некоторая излишняя робость не позволяла мне выйти в лидеры школьной филумении. То, что я был самым упертым, сомнения не вызывает, но не вызывает сомнения и то, что удачливей всех я, в принципе, не мог быть — никогда, нигде, ни в чем…

Впрочем, однажды небывалая удача случилась все же. Это когда в аэропорту один дядя, назвавшийся Борисом Александровичем и наклейку на спичечной коробке имевший весьма посредственную — хотя, возможно, он и вообще не курил, — вдруг пристал ко мне со всякими вопросами.

Нынешний тинэйджер, вне всякого сомнения, послал бы дядю по известному адресу, и вся недолга, но среди нас был только один человек, способный на такую выходку, уникальный человек, о котором речь пойдет несколько позже.

Но я, советский пионер, пусть и не самый образцовый, к хамству способности не имел и по сей день не имею. И я все про себя этому странному Борису Александровичу выложил в обмен на обещание прислать мне по почте страшную уйму прекрасных, чистых и совершенно не надорванных этикеток.

Не уверен, что я очень уж поверил незнакомцу, однако, во-первых, с хранением тайн у меня вечные трудности, а во-вторых, случаются же в жизни чудеса.

И чудо произошло, когда я уже перестал ждать. На мой адрес пришел объемистый пакет, на котором так буквально и написано было: «Товарищу отличнику учебы Чуманову Александру Николаевичу». А в пакете находилось несметное количество вожделенных картинок, враз удваивающее мое кровью и потом нажитое собрание.

Тогда я еще не знал, что спичечные этикетки, а также и почтовые марки запросто продаются целыми пачками в специальном свердловском магазине. Честно сказать, когда узнал, явно огорчился. Хотя и не надолго. И отнюдь не прекратил рискованные вояжи в аэропорт.

Конечно, бандероль от чужого хорошего человека произвела впечатление даже на маму. Пожалуй, она даже слегка смягчилась.

Я немедленно был усажен за стол, и мне был продиктован благодарственный ответ многоуважаемому Борису Александровичу с уверением в том, что я и впредь обязуюсь отлично учиться, слушаться родителей и не совершать поступков, не совместимых со званием пионера и советского человека. Кроме

того, в письме содержалось приглашение посетить нашу скромную, но честную семью, если пути Бориса Александровича вдруг случайно пролягут невдалеке от наших палестин.

И через какое-то время — мы как раз картошку собирались окучивать, а это дело мне очень напоминает пиление дров двуручной пилой — Борис Александрович с супругой и двумя дочками-воображалами навестил нас в нашей коммуналке — приехал специально на собственном авто марки «Москвич-401».

И картошка осталась до другого раза, мама накрыла соответствующий стол, выставила бутылку вина.

Само собой, я был одарен новой большой партией этикеток.

К сожалению, дружба семьями развития не получила. Пожалуй, мы показались нашим гостям недостаточно интеллигентными. Или сами себе мы показались таковыми, почему и не решились на ответный визит. Или причина в чем-то совершенно ином. В конце концов, если дружба чаще всего причины имеет, то ее отсутствие вполне может быть беспричинным…

А потом маме снова надоело целыми днями за меня переживать. И она в очередной раз наложила свое суровое «вето» на сомнительные велопробеги. Однако — «охота пуще неволи». И я продолжал гонять в Кольцово. Конечно, иной раз мне удавалось нарушить запрет и не вызвать подозрений долгим отсутствием. Но чаще приходилось расплачиваться по высшей ставке. А кроме того, мама не раз грозилась уничтожить коллекцию, что повергало меня в ужас, как смертный приговор. Однако до его исполнения дело каким-то чудом так и не дошло.

А ведь кроме не признающей никаких преград страсти коллекционера были и другие, мелкие, часто одноразовые страстишки. Весенняя добыча яиц из гнезд диких птиц, сопряженная с лазаньем по высоким деревьям, в чем не было мне равных — вот когда пригодился ранее приобретенный навык, — пугачи да поджиги, а случалось, оказывалось в моих руках и настоящее ружье; рейды по тылам противника, а в противниках числилась любая местность, находящаяся за пределами наших двухэтажек; забавные гадости вроде кражи из форточки кастрюли с киселем, который хозяева поставили остужаться, а мы его и горячим замечательно выпили, привязывание к той же форточке картофелины на нитке, чтобы пугать обитателей коммуналки стуками загадочного происхождения.

Разумеется, памятны и самые опасные эпизоды. Так, однажды у меня в кармане взорвалась пачка дымного пороха, к счастью, не полная, отчего я сам лишь слегка обжегся, но у моего пальто вырвало напрочь карман, и вся пола, считай, сгорела. Чуть позже

этого случая произошло еще два аналогичных — выстрелил из поджига в консервную банку и незамедлительно получил практическое доказательство истинности закона о «действии и противодействии» — заряд полетел в одну сторону, а ствол самодельного пистолета, видимо плохо закрепленный, — в противоположную. В грудь, по счастью, не воткнулся, но синяк вышел порядочный — в аккурат против сердца. Болело долго. Потом разорвало сигнальную ракету, и все содержимое попало в лицо одному моему корешу. Магний, к счастью, отскочил и сгорел на земле, но пыж в щеку воткнулся, и частицы пороха усеяли лицо.

И наконец, получил настоящее ранение я — мы баловались карбидом — сейчас эти серые камушки редко применяются, а тогда ацетилен в баллонах был большой редкостью, бутылка взорвалась, парню, который держал ее в руке, — ничего, а мне пробило щеку, так что потом пришлось накладывать швы, и шрам от того ранения я ношу всю жизнь — многие думают, что это след от опасной бритвы, и смотрят с уважением. Хотя кое-кто и — без…

Вот тогда-то, после очередной экзекуции, повела меня мама первый раз в жизни к профессиональному фотографу, чтобы успеть запечатлеть живым. Ей казалось, что час моей неминучей гибели уже совсем близок…

А лучшими моими друзьями в этот период были легендарный Леха Ковков, уже упоминавшийся здесь, а также его старшая сестра Нинка, тоже упоминавшаяся как подруга Зинички. Правда, тогда Нинка еще не была беременна от солдата Васьки, а исполняла обязанности атамана нашей небольшой, но рисковой компании, будучи среди нас, как сказали бы нынче, «самым крутым пацаном», ей-богу, без всякой натяжки.

Нинка умела и имела право открыто курить, хотя очень редко это делала, а когда забеременела, перестала вовсе, она, по-моему, могла запросто побить любого мужика, что и делала не раз, но всегда справедливо, ныряла на пруду с нырялки или с пешеходного моста в зловонную Исеть не «солдатиком», а вниз головой и, освоив вождение мотоцикла — сосед-мотоциклист, обладатель трескучего драндулета марки «М-1-М», видимо, благоволил Нинке, — обучила этому делу и нас, мелочь пузатую.

Помню во всех деталях: каждому дозволялось сделать по лесному стадиону один круг. А наша инструкторша сидела сзади и делала за нас основные манипуляции. Впрочем, никаких особых манипуляций не требовалось — ездили только на первой передаче.

Но, разумеется, едва первоначальный восторг стал убывать,

столь малая скорость меня устраивать перестала. И на финишной прямой я повернул ручку газа до конца. И так держал, несмотря на крики инструкторши. Но на финише сбавил газ.

Когда мы сошли с мотоцикла, Нинка, однако, не ругалась, а наоборот, хохотала во все горло.

— Ну, Сана, ну, гад, я же чуть не кон… Чуть не уссялась из-за тебя!

И я догадался, о чем речь. У меня и у самого от этой вибрации свербило в промежности…

Между тем, как ни странно, я не помню, чтобы эта девушка Нина материлась. В качестве ругательств она употребляла сильные, но не матерные слова: «фашист», «гад», «суконка»… Ими она, а также подзатыльниками чаще всего награждала родного братика Леху, того, который мог кого угодно послать по известному адресу — будь то молодая учительница или бывалый милиционер, с которыми уникальный Леха церемонился не больше, чем с обитателями других улиц, причем то и дело — без всяких причин…

А занятная семейка была. Мама как мама, слова дурного от нее не услышишь, но детки… Старший Александр на воле бывал редко и не подолгу, поэтому познакомиться с ним как следует не довелось. Впрочем, он с малолетками и не водился. Про среднюю, Нину, в основном уже сказано. Но младший, Леха, вне всякого сомнения, их, вместе взятых, намного превосходил, будучи по самой глубинной сути личностью не просто криминальной, но прирожденным отморозком. Беспредельщиков, каких сейчас расплодилось — не перестрелять, а тогда они были большой редкостью даже в криминальном мире и жили совсем мало…

В общем, Леха, скорей всего, от природы был наделен особым сволочным даром, большей сволочи я за всю многотрудную жизнь не встречал.

А было мне уже лет десять, Лехе, вероятно, одиннадцать-двенадцать. И он, я ничуть не преувеличиваю, держал в страхе весь наш захудалый рабочий поселок, вскоре — ради смеху, что ли, — переименованный в город. И я не помню, чтобы моего дружана хоть раз кто-нибудь крепко побил.

А между тем ростом он был мелок — чуть выше меня, правда, имел развитые мускулы и крепкие жилы. К тому же, вопреки расхожему мнению, берущему начало, как представляется, в оторванных от реальности педагогических кругах, Леха не ведал страха. И добавьте еще сюда абсолютные наглость, коварство, вероломство…

Так что старшеклассники предпочитали с ним не связываться, опасаясь его взрослых дружков, хотя никаких таких дружков, я

точно знаю, в помине не было, да Леха и сам этим не хвастал, правда, слухи тоже не опровергал, что легко объяснимо. Но наверное, люди мыслили логически: не может быть, чтобы за таким чудовищем не стоял кто-нибудь еще более значительный.

А среднеклассники и младшеклассники безропотно терпели ничем не сбалансированный террор…

Нет, если вы подумали, что я ходил у Лехи в холуях, то это не так. Маме все-таки не удалось сделать из меня законченного патологического труса. Возможно, оказали сопротивление сами бессмертные гены, иначе — что?

Холуев хватало и без меня. Я же нужен был в качестве друга.

Невероятно, но факт, моя строгая мать никогда не пыталась мне диктовать, с кем я могу дружить, а с кем — ни в котором случае. С ее стороны, наверное, это очень большое упущение, но, возможно, она интуитивно догадывалась, что если пойти по пути народной мудрости «с кем поведешься, от того и наберешься», то очень скоро окажешься перед самым банальным зеркалом, поскольку друзья — друзьями, а уж мамино влияние-то по-любому не слабее…

А в школе в иные моменты мерещилось учителям, а из-за них и нам, одноклассникам, что наш Леха вот-вот окончательно и бесповоротно встанет на путь исправления.

Но — нет. Этому не суждено было случиться никогда. Наоборот, Лехины отношения с породившим его обществом все более осложнялись, его вероломство достигло апогея, и казалось, что этому бандиту доставляет наибольшее удовольствие глумиться над лучшими чувствами тех, кто больше других в него поверил.

Попала в больницу с гипертоническим кризом наша добрейшая классная руководительница, единственный на всей земле взрослый человек, к которому Леха испытывал некое подобие почтения, а девочку-отличницу, красавицу Лорку, которая сперва ради воспитательных целей отважилась ходить с хулиганом — начиталась, дура, стихов Асадова, популярнейшего среди учительниц и отличниц поэта тех времен, — но вскоре влюбилась в него по уши, а Леха ее унизил, морально уничтожил самым беспардонным образом — повалил на парту, задрал подол школьного платья и, стащив панталоны до колен, приглашал всех желающих ущипнуть или погладить девчачью попку за двадцать копеек. Правда, желающих это проделать не нашлось, как не нашлось и способных заступиться…

Господи, стыдно-то как!..

После этого Леху решили-таки посадить. Но он (болтали, что нарочно), заправляя дома керогаз, плеснул керосином на себя и

настолько сильно обжег руки, что потом несколько месяцев был в полной беспомощности, ходил в наброшенной на плечи и застегнутой телогрейке и даже малую нужду не мог самостоятельно справить, но лишь немногие из старых друзей соглашались помогать ему в этом жизненно важном деле.

А кое-кто, наоборот, не упускал случая поквитаться со своим бывшим мучителем, оказавшимся в беспомощности, норовил причинить ему боль как бы нечаянно. А Лехе, наверное, было здорово больно, потому что часто его организм при этом исторгал не только угрозы и ругательства, но и слезы, которые в прежние времена почти никому не доводилось увидеть.

Но не помню, чтобы хоть кто-нибудь отважился на откровенную месть. Что это было — великодушие или трусость? Или фантастическая смесь того и другого?..

Я был одним из немногих, кто дружбу с Лехой не прекратил, хотя к тому моменту само собой так выходило, что наши совместные похождения и приключения делались все более редкими. Не знаю, может, я видел от Лехи добра больше, чем другие, может, слово «друг» не хотелось мне считать пустым звуком, но я даже малую нужду помогал ему справлять, после чего демонстративно и тщательно мыл руки в ближайшей луже, не упуская возможности припомнить в этот момент какую-нибудь его давнюю гадость, причем не только по отношению ко мне.

И Леха покаянно кивал, охотно соглашался с моими аргументами, клялся самыми страшными клятвами, что когда совершенно выздоровеет, то сперва рассчитается со сволочами и отступниками, кои сейчас обнаглели и вовсю пользуются его немощью, а уж потом станет совсем-совсем другим человеком и даже перед Лоркой извинится, может, и женится потом.

И ни разу мне не хватило духу сказать Лехе то, что я много раз слышал от взрослых относительно его перспектив. А перспективы, по общему мнению, были безрадостны — никогда не суждено Лехиным рукам вернуть себе прежнюю силу, ловкость, подвижность.

Однако через какое-то время выяснилось, что даже работники медицины недооценили дьявольскую живучесть этого человека. Конечно, это выяснилось не вдруг, а постепенно, так что корефан мой в заточение все же угодил.

Ближе к старшим классам мои основные интересы, как ни странно, вдруг сосредоточились на учебе — абсолютно не помню, когда и куда подевалась моя великолепная коллекция. Слышал, что в те годы Леха держал в страхе танцплощадку и ДК, по-прежнему не церемонился с дамами — пинал их походя под зад и громко говорил в лицо гнусности, — но я на танцы не ходил,

друзьями моими уже были приличные во всех отношениях парни и девчонки моего класса, а также ребята нашего нового дома, где отец мой однажды «охлопотал»-таки двухкомнатную «хрущобу», не осквернённую керосиново-коммунальным духом.

Леху посадили, и больше он в Арамили ни разу не появился. Был слух, что там, где он оказался, отморозков мочили по ночам. Вот, стало быть, и — его.

И все моментально забыли про нашего злого гения. Так, во всяком случае, мне еще недавно казалось. Но когда я затеял этот мой мемуар и стал расспрашивать одногодков, с которыми в детстве и юности даже знаком не был, то оказалось, что в памяти народной мрачный образ Лехи Ковкова не пропал без следа, а вполне свеж, хотя и утратил значительную долю былой мрачности.

Причем почтенные дамы, уже внуков имеющие, вспоминали антигероя, не скрывая содрогания, что естественно, однако к содроганию нередко примешивался еще и затаенный восторг; а солидные мужчины тоже доброго слова не говорили, но они явно занижали значение Лехи Ковкова в их юной жизни — кому охота помнить себя любимого законченным трусом и полным ничтожеством.

Впрочем, и дам, и мужчин я охотно извиняю за эту аберрацию памяти и даже умиляюсь: до чего живучи в нас легкомысленные девчонки и шебутные пацаны, давно, казалось бы, бесследно исчезнувшие под тяжкими наслоениями лет, неудач и рассыпавшихся в прах идеалов!..

А Нинку я потом еще долго встречал в разных местах Арамили. Они с Васькой, бывшим солдатом Советской Армии, были неразлучны, а при них неизменно находилась сперва одна сопливая девчушка, а потом — две.

И время от времени в этой быстро стареющей женщине, которая была неизменно приветлива со мной, да и у меня имелись все основания платить ей той же монетой, время от времени в ней словно бы просыпалась та всеми забытая оторва. И тогда Нина выкидывала какой-нибудь специфический номер, что мужу не нравилось, однако он явно не имел власти, что бы то ни было запрещать жене.

Так однажды, вспомнив юность, моя давняя наставница решила взбодрить весь осоловевший от жары пляж, где по чистой случайности оказался и я.

— Нин, может, не надо? — робко вякнул я, заметив в глазах женщины маленьких блескучих бесов.

— Ты чо, Сана?!

— Ну, как знаешь…

А Васька только глаза потупил…

Нина одним рывком стянула с головы платье, под которым обнаружились панталоны голубого трикотажа и белый атласный бюстгальтер, взобралась на вышку и с разбегу обрушилась в воду. Хотела лихо, как когда-то, но вышло неуклюже, по-коровьи…

Она плюхнулась на «пузу», едва не расплескав наш небольшой пруд, подняла тучу брызг, но все же из воды выбралась самостоятельно, морщась от боли и вполголоса матерясь, живот и ляжки были у нее при этом красными-красными, как внутренность арбуза, а глаза злые и несчастные.

Ничего не понимавшие в жизни Нинкины дочки восторженно хлопали в ладоши, Васька морщился, будто от зубной боли, пляжная публика, потрясенная, но не так, как замышлялось, валялась от хохота по песку, а мне хотелось быть в этот момент в каком-нибудь другом месте планеты. Мне кажется, что Нинке было бы чуть-чуть легче, если бы я и впрямь отсутствовал…

А потом Васька по пьянке отморозил ноги, и ему их немного укоротили, дали какие-то протезы, и Васька с Нинкой, собрав девчонок и прочее совместно нажитое богатство, уехали из Арамили. Вроде как — к Васькиной родне в какую-то вятскую деревню. И больше уж мне, наверное, никого из них не встретить в этом мире…

В общем, мы прокантовались в коммуналке ровно два года. И все эти два года мой отец, разумеется подбадриваемый мамой, «хлопотал».

Сколько я его помню, подобного рода хлопоты были одним из основных его жизненных занятий. Технику многочасовых сидений в самых разнообразных приемных он знал в совершенстве, и, вероятно, не было в стране Советов такого начальника, которого мой отец не мог бы взять измором, вот только не во все приемные его пускали…

Всю жизнь отец хлопотал насчет специального инвалидного транспортного средства — периодически ездил в Свердловск на всякие комиссии-перекомиссии, откуда возвращался с неизменно отрицательным результатом, который его, как казалось, ничуть не обескураживал.

А ведь если хорошенько вдуматься, может, нам стоит признаться хотя бы самим себе: «Е-мое, а ведь получается, что мы все в той или иной степени — детдомовцы. Причем с очень давних, добольшевистских времен. Иждивенчество, может, одна из самых главных примет нашего милого менталитета…»

Между тем инвалиды, выглядевшие явно здоровей отца, но нигде по причине малограмотности не работавшие и потому имевшие вторую группу инвалидности, вовсю шустрили на

мотоколясках, катали нас, пацанов, а когда мы немного подрастали, то и управлять своим драндулетом доверяли, впадая в состояние пьяного благодушия.

Конечно, отцу было обидно. Конечно, ему тоже хотелось. Правда, вряд ли он отчетливо представлял тогда, что такое собственное транспортное средство и какие бывают с ним мороки. И вообще, какая это большая ответственность и головная боль не просто владеть, но еще ездить по улицам и дорогам СССР.

Однако был такой нюанс — инвалиду третьей группы могли дать куда более солидный автомобиль, но для этого требовалось раскошелиться, сделав легкое встречное движение навстречу государству, заплатить процентов шестьдесят от стоимости машины. А у нас лишних денег отродясь не водилось.

Но вдруг однажды мама, провожая отца на очередную комиссию, возьми да и ляпни: «Проси „Москвича“!» Отец только поглядел на нее изумленно да и закрыл за собой дверь. А вечером, глуповато улыбаясь, с порога огорошил: «Дали…»

А мы только-только маленько разжились. Только-только выхлопотанную отцом «хрущобу» обживать начали, нарадоваться центральному отоплению, ванне с титаном и холодной воде из крана еще толком не успели, как не успели нарадоваться собственному телику (прежде-то к соседям «кина» смотреть ходили), мебели новомодной — комоду шифоньеру и круглому столу, сработанным, как говорится, «из всего леса».

Мама объявила: «Ну, все, отсюда — только вперед ногами». И остальная семья молча с ней согласилась. Однако так сложилось, что из этой квартиры еще никого вперед ногами не выносили, и я, самый юный из ее первообитателей, судя по всему, буду первым.

В общем, телевизор да плюшевый коврик с оленями мы загнали, мебель, однако, спроса не нашла. А то и ее б. Но мебели, видимо, к тому моменту для советского народа достаточно новой нарубили. Мама с еще большим остервенением принялась строчить свои задергушки-накидушки. Даже я, имевший небольшое количество денег, вырученных осенью за кроличьи шкурки, которые до того собственноручно содрал с бедных звериков, но еще раньше самих звериков вырастить пришлось, что было одним из последних моих детских увлечений, — безо всякого сожаления пожертвовал на общесемейное дело.

Таким образом, к назначенному сроку полторы тыщи новехоньких рублей были собраны, еще тыщу щедрое государство взяло на себя.

И знакомый водитель пригнал нам с базы красный «Москвич-407Б» — предмет неслыханной роскоши, одномоментно выдвинувший нас в самые передовые ряды строителей

коммунизма, который, лично я в этом нисколько не сомневался, жертвуя свою трудовую копеечку на средство передвижения, должен был уже вот-вот, ну, буквально… Да многое, ей-богу, говорило за это!..

Пожалуй, это были наилучшие для нашей семьи времена. Возможно, они и для страны в двадцатом веке были наилучшими. Не зря ж придумали — «оттепель»… Не замечали: когда в марте хорошая оттепель, даже думать не хочется о грядущих с почти гарантированной неизбежностью майских снегах да заморозках…

Да, чуть не забыл, а это тоже относится ко времени «оттепели», мама где-то в самом начале нашего арамильского периода, во-первых, вырвала у соответствующих органов справку о полной реабилитации своего отца, а во-вторых, назло моему отцу и только поэтому вступила в КПСС. Тем самым ее муж, любивший в иные моменты многозначительно обронить: «Не забывай, чья ты дочь…», — разом лишился своего самого весомого аргумента…

А что до гласности, то, возможно, кому-то и где-то ее не хватало, но у нас в Арамили было ее завались — один наш сосед уже по трехэтажке, то есть тоже недавно получивший щедрый подарок от пролетарского государства, одноглазый Тимоха, как-то напившись до потери благонадежности, долго валялся посреди двора и периодически вскрикивал, ни к кому конкретно не обращаясь: «Хрущев дурак, Хрущев засранец!» И ничего Тимохе не было.

В новом доме и приятели у меня скоро новые завелись. Кое-кого, пожалуй, можно было и другом назвать. И что любопытно — дом был разрядом выше предыдущего, впрочем, он и этажом был выше, но главное, новые приятели оказались совсем иного сорта, чем те, поджигатели керогазов. Хотя и в новом доме большинство ребят моего возраста были, как говорилось в старину, «байстрюками».

Конечно, каждый имел в своем активе расхожую байку про геройски погибшего отца, но теперь-то я отчетливо понимаю, что не могло быть даже в то время столько летчиков-испытателей на душу населения, столько геологов и полярников, сгинувших без следа, но прежде сообщивших куда следует об открытом месторождении или формирующемся над Арктикой циклоне…

Конечно, какое-то время я разрывался еще между старыми и новыми приятелями, впрочем, особо-то разрываться не приходилось — не так уж далеко друг от друга стояли два дома, однако мало-помалу старая компания от меня отходила, но, может, я от нее отходил. А скорей, банда наша естественным образом развалилась, потому что Нинка замуж вышла, а Леху

окончательно прогнали из школы…

А, ладно, была не была! Плюньте, читатель, на все, что накрутил я в предыдущем абзаце, потому что самой наиглавнейшей причиной моего отхода от прежней жизни была девочка, также поселившаяся в нашем доме, которая была годом младше меня и в которую мы все поголовно вдруг влюбились. Да-да, та самая девочка, о которой уже упоминалось, но до особых моих отношений с которой должна была минуть еще целая вечность.

Конечно, кроме этой одной были в нашем доме и другие пионерки, тоже вошедшие в дворовую компанию, тоже равноправно участвовавшие в наших вполне еще детских занятиях и забавах, но мы, пацаны, смогли пристально разглядеть лишь одну.

Зимой мы катались на коньках и лыжах, но больше любили многозначительно «дуреть» на снежной горке и вокруг нее, порой пробирались в чью-то временно опустевшую квартиру потанцевать под радиолу — увы, я танцевать и не умел, и робел учиться, как не умею и робею до сих пор, — весной ходили за вербой, подснежниками, лютиками, а время от времени кто-нибудь безо всякого, разумеется, разрешения целовал, как умел, нашу общую возлюбленную, за что неизменно получал звонкую веселую оплеуху и целый день ходил гордый, а мы, совсем не чуя ревности, всерьез решали, кто из нас будет следующим смельчаком…

О том, что я тоже поражен общей влюбленностью, тогда еще не знала ни одна душа. Почему-то в любовном вопросе я оказался самым робким, хотя в других вопросах — сами знаете — мой авторитет, помноженный на давнюю дружбу с Лехой, был весьма высок, черт возьми, меня, мелкого, даже явно побаивались на первых порах…

А между тем случалось, что ночами я беспричинно, как думала семья, ревел, обильно увлажняя подушку. И бывал разоблаченным. И тогда уж рыдал в голос. И мама чинила допрос, выдвигала самые экзотические гипотезы, но пару раз попала в точку: «Чо ревешь, влюбился, может?!»

Однако я себя не выдал — на правильный вопрос реагировал все тем же отрицательным и энергичным шевелением головы, либо же, превозмогая эмоции, выкрикивал срывающимся, ломающимся голосом: «Да нет, еще чего выдумаешь, мне просто приснилось, что ты умерла…» И мама, удовлетворенная более чем, оставляла меня в покое, а то и говорила что-нибудь ободряющее.

Нет, признаваться матери казалось абсолютно невозможным.

Попробуй, если сразу встает перед глазами примечательный эпизод: отец, слегка размягченный алкоголем, прослушавший по телевизору новую тогда песню на слова Исаковского «Враги сожгли родную хату…» и прослезившийся, подходит к матери, занятой вязаньем, сзади, гладит ее тихонько по волосам и произносит чуть слышно: «А мы с тобой встретились, Аня…»

А мама в ответ: «Чего-о?!» И хохочет до выпадения рукоделья из рук…

Пока мы по-детски табунились все вместе, один парень, который был нас существенно старше и проживал на другом конце Арамили, имея там, однако, свою авторитетную ватагу, решил поступить так, как и подобало в то время поступать взрослому солидному мужчине, задумавшему покончить с одинокой жизнью.

Парень без долгих колебаний написал записку соответствующего содержания, которую я, разумеется, не читал. Но не требуется богатого воображения, чтобы угадать приблизительно, а то и абсолютно точно сакраментальный тот текст: «Ты мне нравишься, давай с тобой дружить». На более сильные выражения вряд ли даже он решился бы.

И все. И однажды мы вдруг обнаружили в нашей доброй, милой, ничуть не хулиганской компании зияющую брешь. Но поделать уже было ничего нельзя — прозевали мы свое счастье, прохлопали. Однако если бы наша принцесса предпочла кого-то из нас, возможно, получилось бы еще обидней…

И компания стала не такой уж сплоченной, и детское времяпровождение как-то наскучило враз. Так что ребята, маленько помаявшись сердцем, вскоре влюбились в других девчонок, с учетом горького опыта — в разных, а я не смог влюбиться ни в кого. Я затаился еще пуще, ночные мои истерики помаленьку сошли на нет, я вдруг вновь зауважал учебу, стал хорошо учиться, как только в младших классах учился, время от времени у меня случались несущественные радости, мама в Арамили, казалось, совсем уж успокоилась, примирилась с судьбой. Отцу вдруг в школе стали платить довольно изрядно, и мы все-таки выбрались однажды все вместе на вожделенный юг…

Но прежде, чем я вырос большой, еще, конечно, и не существенные, эпизодические инциденты у меня случались. Так однажды я подрался из-за отца с парнем, который до того уже провел в нашем классе и за пределами серию убедительных побед, свидетелем которых довелось быть и мне.

И вот понравилось ему меня изводить, обзывая моего колченогого отца при мне. Конечно, у многих учителей были прозвища: миниатюрную математичку называли «Пи-пополам»,

большую грудастую пионервожатую «Салют-бабой», а красавицу-химичку, за которую мне тоже бывало обидно, «Аш-два-эс».

И этот пацан, как только увидит моего отца, так начинает: «Рупь-пять, рупь-пять!..» Отцу не слыхать, но я-то рядом…

И не выдержало однажды мое ретивое. Вдруг в один момент будто вспыхнуло перед глазами, вспомнилась старая фотография с моими и отцовскими предками, увиделось мне при свете вспышки, что все двенадцать курносых амбалов, как двенадцать апостолов, с нескрываемым презрением и затаенной надеждой смотрят на меня. А главное, и он, мелкий мой дедушка, тоже смотрит.

И ринулся я в бой. И одержал очень важную для дальнейшей жизни победу, стоившую мне довольно большой крови, но зато после нее-то я и начал добирать недостающий рост…

Я редко видел мою соседку. Так почему-то выходило, что мы всегда учились в разных сменах. Она здоровалась со мной приветливо, я старался тоже выглядеть веселым и равнодушным, однако всякая встреча оставляла царапинку на сердце. Хотя и по-прежнему не заметную ни для кого…

Эх, сказал бы мне кто тогда: «Не горюй, Санек, это ж твоя жена. Потерпи малось — в масштабе жизни совсем чуть-чуть, — и все будет путем, ничего страшного ни с тобой, ни с ней не случится, вы проживете долгую и счастливую жизнь, будут у вас дети и внуки, и ни один мужчина, кроме тебя, дурака малохольного, никогда не ляжет в ее постель…»

Разумеется, никто мне этого тогда сказать не мог. А и сказал бы, так — что…

В общем, все вышло, пожалуй, наилучшими образом. До девятого класса я еще был меньше всех ростом и меня никто, в том числе я сам, не принимал всерьез. А соперник мой, понятия не имевший, что он чей-то там соперник, тоже, видимо, установку имел старомодную: взять в жены деву, непременно непорочную. Да и саму-то деву не стоит сбрасывать со счетов — пионерка же была, а потом комсомолка. Так что я ее как бы на время в Сбербанк положил. Причем под проценты в виде нарастающей год от года привлекательности…

И разумеется, эта моя душевная болезнь (а что такое любовь, если не душевная болезнь?) не всегда находилась в состоянии обострения, отмечались довольно продолжительные периоды ремиссии, болезнь принимала вялотекущий характер и даже, казалось, отпускала совсем.

Ей-богу, это меня очень радовало, так как давало свободу, которая всегда была для меня одной из основных жизненных ценностей.

Но потом из-за сущего пустяка — увижу их, например, на балконе вместе — любовный психоз как напомнит о себе болезненным уколом в сердце!..

Окончание школы совпало с фактическим окончанием нашей семьи. Сперва мама нашла себе работу за пределами Арамили — ее взяли заведовать новым детским комбинатом и пообещали вскорости квартиру, но потом, когда всем обещаниям пришла пора исполниться, вдруг выяснилось, что папу в новую квартиру брать не собираются, а собираются в ней наслаждаться обретенной-таки любовью с человеком, всеми показателями превосходящим моего несчастного папку.

Вот оно как вышло, когда мама, по всему было видать, уже почти надеяться и трепыхаться перестала. Искала всего-то работу, а приобрела, считай, новую жизнь, потому что с тем человеком прожить ей довелось чуть не двадцать лет…

А бабушка в это время жила у дяди Лени, а Надя заканчивала филиал Плехановского, нынешний СИНХ, а я готовился держать вступительное испытание в УПИ, и мама без особого труда объяснилась: «Я всю жизнь мучилась ради детей, теперь дети выросли, мой долг исполнен, и пришло время пожить ради себя».

И остался мой папка со своим разбитым сердцем да со мной, тоже нацелившимся его покинуть — обосноваться в студенческой общаге, рисовавшейся издалека чем-то вроде того, что показывают нынче про студенческие городки Америки по телевизору.

И было отцу в то время столько лет, сколько мне сейчас. И казалось ему, что жизнь кончена, однако казалось ему так не очень долго — детдомовец же, вскоре он опять засел за письма глубокоуважаемым директорам далеких средних школ. И возможно, он покинул бы ненавистный городишко, где все напоминает о поруганном достоинстве и разрушенном душевно-физическом комфорте, но вдруг подвернулась довольно приличная женщина привлекательной наружности и сравнительно молодого возраста. Правда, у нее было три дочки-школьницы от разных мужчин, но зато она имела высшее образование и квартиру, куда бралась прописать и отца.

И он, молоток, оставил мне нашу хрущобу и двоих девчонок заделал, чтобы его новая супруга могла отправиться на пенсию пятью годами раньше…

А я поначалу сильно переживал разрыв. И сестра переживала. И мы с ней, выслушивая то одного, то другого, то с одним, то с другим ссорились да мирились, потому что верили обоим и сочувствовали обоим и аргументы обоих казались абсолютно убедительными…

А потом, став студентом, проучившись один семестр и сдав сессию, я приехал в родную школу на вечер встречи выпускников, там мы с одноклассниками крепко выпили, пошли танцевать, и вдруг мне на глаза попалась она, моя роковая любовь. И мы протоптались с ней весь вечер, изображая нечто, отдаленно напоминающее «танго», потом вместе пошли домой — по пути же, — и там, совершенно осмелевший, можно сказать, распоясавшийся от спиртного, но также и от моего такого высокого студенческого статуса, у подъезда нашего я все ей и выложил. Без обиняков, безо всяких, разумеется, детских «давай дружить» — взрослый уже был и рослый, догнавший и перегнавший многих сверстников по части знания жизни и телосложения, явно обошедший по всем статьям ее низкорослого и давно присмиревшего второгодника, двоечника, разгильдяя, не осилившего даже ПТУ и подвизавшегося грузчиком на продбазе.

Моя десятиклассница выслушала меня благосклонно и, может, ради старомодного приличия на первый раз отмолчалась бы, но я поставил вопрос ребром — ибо уже так долго ждал, что чуть не умер, — и она была вынуждена ответить, хотя и не так прямо, как грезилось в многолетних мечтах. Она мне на шею со слезами не кинулась, но произнесла достаточно недвусмысленно: «Что ж ты так долго, я уж думала — не дождусь…» А я ей на это, не удержавшись: «Обязательно, что ли, с кем-то нужно было „ходить“, не могла, что ли, спокойно потерпеть, пока я вырасту?» — «Так потерпела же!» — был ответ.

И моментально эта соседская девчонка стала моим всем, в одно мгновение вытеснила из моего сердца всю мою несчастную родню, ну, почти вытеснила. И дальнейшие приключения родителей я воспринимал как нечто забавное и ко мне совершенно не относящееся.

А кроме того, все мои непомерные требования к человеку, которого я люблю, легли на слабые плечи ни в чем не повинной девочки.

И она не согнулась под этим грузом, понесла его, можно сказать, безропотно, быстро усвоив простую, но для многих совершенно непонятную вещь: это легко, это совсем легко, потому что делать и даже говорить что-то особенное не надо, а надо лишь не делать и не говорить кое-что…

Какое-то время мной владели исключительно платонические чувства, ничего «такого» я себе даже в мыслях не позволял, но соседка моя, поцелуи в подъезде уже проходившая, оказалась более решительной, чем я предполагал, и однажды дала мне понять, что можно переходить к следующему этапу.

И мы перешли…

Вообще-то история моей единственной любви — совершенно отдельная история. Но она за рамками времени, о котором хотелось написать. Собственно, она и есть крайняя грань моего детства бестолкового, после которого памятным февральским вечером началась взрослая жизнь, содержавшая ненамного больше толку.

Но история любви, пожалуй, и за рамками моих творческих возможностей. Потому что длится неправдоподобно долго и, наверное, даже неприлично долго, слишком уж напоминая «мыльную оперу». Это ж какой гигантский талант нужно иметь, чтобы создать текст, не погрешив против конкретной правды жизни и не вызвав брезгливой усмешки современного сноба! У меня такого таланта нет…

Вот и скажите, кто мог выйти из меня в итоге? По-моему — только писатель. Хотя и писателя, кажется, не вышло. Однако клянусь: еще до недавнего времени я был увлечен этим делом не меньше, чем когда-то собиранием окурков и спичечных этикеток, и только в последние год-два страсть, кажется, стала помаленьку угасать. Последняя моя страсть…

Тем не менее повесть о моем «босоногом» детстве, с чего обычно начинают молодые прозаики, а я, получается, заканчиваю, — вот она. Кому она нужна в наше время? Отвечу незамысловато: кто читал, тот и читает, а кто не читал, тот и не будет…

А как взбаламутил, как разбередил память! Теперь долго не уляжется, не успокоится…

Однако я отправляю этот жесткий общий вагон моих воспоминаний со станции «Детство», отправляю, сам не зная куда. А по перрону бегут за ним не вспомнившиеся вовремя детали, эпизоды и персонажи: «А как же мы? Вы забыли нас! Без нас нешто можно?!»

Увы, поздно. Дело сделано. Поезд уходит. Фактически он уже ушел. И давно.

Март — апрель, 2001, Арамиль